Русский Нил. Василий Васильевич Розанов

Вступление

Однажды мне встретилась книга: “Уроженцы и деятели Владимирской губернии, получившие известность на различных поприщах общественной пользы… Собрал и дополнил А. В. Смирнов… Гор. Владимир, 1899”. Верно, этот Смирнов перерыл тьму газет и журналов, выискивая имена своих земляков, собирая их «жития», чтобы для памяти потомкам и прославления земли владимирской утвердить дела и помыслы своих сородичей, запечатлеть в истории свою родину. Есть такие книги и для других губерний.

Если бы возродилась прерванная традиция составления таких словарей землячеств, то словарь Волги стал бы богатейшей энциклопедией: Карамзин. Гончаров, Языков, Радищев… И как бы далеко ни уходил человек от своего гнезда, наступает возраст, когда он неодолимо повертывает свой взор в ту сторону, откуда он вышел. “И вот почти в старости, — пишет Розанов, — мне захотелось пережить “опять на родине”, пережить этот трогательный сюжет многих русских поэтов”.

Он, однако, вышел не с берегов Волги. Розанов родился в дальнем углу лесного костромского края — Ветлуге. В этот уезд с молодой женой пришел письмоводителем его отец, Василий Федорович, не захотевший продолжить дело своего родителя — сельского священника. Он умер молодым, тридцатидевятилетним человеком, оставив сиротами восемь малолетних детей, после чего вдова его возвратилась в родной город — Кострому. Случилось это в 1861 году, когда Васе Розанову было около пяти лет. Розановых тут ожидала полунищета, а детей полное сиротство. После смерти матери в июле 1870 года Василий поступил под опеку старшего брата Николая. Здесь, в доме матери у Боровкова пруда, родилась розановская душа; здесь находился источник «творчества» Розанова — остальное было для него только «образованием». Отзвуки костромской жизни слышны в его автобиографических книгах: «Уединенное» (СПб. 1912), «Смертное» (СПб. 1913), “Опавшие листья” (СПб. 1913; Пг. 1915, 2 “короба”). Эти воспоминания, точно “касания перстами открытых ран”, были зачем-то нужны ему, если он выносил их в печать’ “Я вышел из мерзости запустения, и так и надо определять меня: выходец из мерзости запустения”. Автобиографические страницы в “Русском Ниле” имеют свою жанровую условность (“фельетон для газеты”), но зная другие источники, биограф многое раскроет в недолгом, незаметном, но таком важном периоде жизни Розанова в Костроме.

> “О мое страшное детство…
>
> О мое печальное детство…
>
> Почему я люблю тебя так и ты вечно стоишь передо мной…
>
> “Больное-то дитя” и любишь…”

Но это — на закате дней.

Симбирск же был для Розанова «духовной» родиной. Свою отроческую жизнь здесь он описал ярко, с большой памятью о событиях и о тех тончайших движениях, какие обнаруживает душа, когда у нее “растут крылья”. Биография Розанова стоит на “трех китах”, на трех сваях. Это его три родины: «физическая» (Кострома), «духовная» (Симбирск) и, позднее, «нравственная» (Елец).

Следующая волжская стоянка путешественника Розанова была непродолжительной. Он мало говорит о ней. А рассказать ему было что. В Нижнем Новгороде он закончил гимназический курс и навсегда покинул берега “русского Нила”. Гимназические годы В. Розанова прошли под «знаменем» Белинского. Пафос Белинского вызывал в юных душах безудержное стремление к знаниям. И Розанов приступает к широкому освоению культуры; он занимается практически всем: от естествознания до богословия. “Компиляция всегда составляла любимую форму, в которой с гимназических лет выражалась моя усидчивость и прилежность, — писал он в 1914 году. — Начавшись в III-м классе компедированием “Физиологических писем” Карла Фохта, она в V–VI-м классах выразилась в собрании обширных хронологических таблиц, и подборе матерьяла для этих таблиц, для чего я перечитывал книги по истории наук, истории живописи и проч. Матерьялы эти, тогда же собранные, были весьма обширны. Меня занимала мысль уловить в хронологические данные все море человеческой мысли, преимущественнее, чем искусства и литературы, — дав параллельно даты только важнейших политических событий. Вообще история наук, история ума человеческого всегда мне представлялась самым великолепным зрелищем” (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1 ед. хр. 224 л. 213).

Приобретенные еще в гимназические годы разнообразные сведения стали основой той энциклопедической эрудированности, что окажется впоследствии важнейшей компонентой розановского интеллектуального мира, которому присущи и блистательные аллюзии с историческими понятиями, и причудливые манипуляции символами мировой культуры. Свобода, которую он проявляет в “мировом хозяйстве” (хотя она и не исключает исторической точности и конкретности соотнесения с наличной данностью, столь им уважавшейся), — одно из замечательных свойств его гения.

С берегов Волги Розанов увез не только обширные познания, но и не менее ценное наследие: реализм миросозерцания и глубокую демократичность. Страницы “Русского Нила”, как, наверное, ни одно из его произведений, делают очевидными эти черты его личности. Присутствие Розанова в веке XX может показаться случайным — и от этого происходят многие парадоксы розановской биографии: его вкусы и пристрастия скорее относятся к XIX столетию. Это видно уже по тому набору литературных тем, проблем и персоналий, которые вошли в его неизданный сборник статей “О писателях и писательстве”: здесь — вся русская литература “от Пушкина до Чехова”. Поэтов и писателей XX века Розанов мало жаловал: его критика Блока, Леонида Андреева, Бальмонта и других иной раз напоминает скорее “порку розгами”, нежели литературный разбор. “Новых писателей, «молодых», Розанов почти не читал и был к ним равнодушен, — свидетельствует его друг Э. Голлербах. — Однажды принес из кабинета в столовую целую кипу книг Брюсова и, положив передо мной, сказал: “Ну-ка покажите, что тут есть хорошего — вы знаете в этом толк, я ничего не понимаю”". Достаточно назвать его отповедь Ю. Айхенвальду (см.: “Споры около имени Белинского” — “Новое время”, 27 июня 1914 года), который «покусился» на имя Белинского, чтобы увидеть в Розанове старинного и преданного ученика “великого критика”. И надо перечитать все статьи, “опавшие листья” и “попутные заметки” о Некрасове, прочитать его статью “Юбилейное издание Добролюбова” (иллюстрированное приложение к “Новому

времени”, 26 ноября 1911 года, стр. 10–11) — и перед нами встанет тот симбирский гимназист из “Русского Нила”, которому «свет» и «тьма» открылись в произведениях шестидесятников. И все это написано не сотрудником “Русского богатства” или “Современного мира” — журналов, хранивших “идеалы шестидесятых годов”, но человеком с устойчивой репутацией реакционера, мистика, «нововременца» и всего того, что сопровождает его имя в энциклопедических статьях и аннотированных указателях имен. Такой сочетаемости противоположностей у Розанова удивлялись и его современники. “Он совмещает в себе, — писал безымянный обозреватель, — точно два лица, говорящих на двух различных языках” (“Раздвояющийся писатель” — “Вестник Европы”, 1897, сент., стр. 422).

Розанов стал “отрицательным героем” на подмостках новейшей русской истории: с его идеями полемизировали левые и правые, декаденты и «церковники». Эта роль «антигероя» оказалась настолько прочной, что даже сегодня, на чуть ли не вековом расстоянии от тех живых событий, когда формировались политические критерии, она осталась почти без переоценки. И для того чтобы ввести Розанова в современную культуру, недостаточно только ослабить всевидящий идеологический контроль — необходимо перевести отношение к нему в иную плоскость. Розанов один из русских писателей, счастливо познавших любовь читателей, неколебимую их преданность. Уразуметь корни этой любви — быть может, главное условие для понимания его наследия.

В литературу Розанов вошел уже сформировавшейся личностью. Его более чем тридцатилетний путь в литературе (1886–1918) был беспрерывным и постепенным разворачиванием таланта и выявлением гения. Розанов менял темы, менял даже проблематику, но личность творца оставалась неущербной.

Условия его жизни (а они были не легче, чем у его знаменитого волжского земляка Максима Горького), нигилистическое воспитание и страстное юношеское желание общественного служения готовили Розанову путь деятеля демократической направленности. По своему темпераменту он должен был стать одним из выразителей социального протеста. Однако юношеский «переворот» изменил его биографию коренным образом, и Розанов обрел свое историческое лицо в других духовных областях.

Рано обнаружившееся философское призвание еще на гимназической скамье включило Розанова в круг тех проблем, которые связаны с популярными в 60-е годы позитивизмом и утилитаризмом Дж. Милля, К. Фохта и других кумиров демократической части русского общества. Тогда у Розанова (IV класс) уже сформулировался этический идеал: “цель человеческой жизни есть счастье”. Розанов самостоятельно обосновал эту аксиому, но в его построение включался негативный элемент — безнравственное. Дисгармония цели и условий, сопутствующих ее достижению, разваливала логику «системы», и мысль Розанова оказалась как бы парализована. “Это был первый зародыш всего моего последующего умственного развития, или, точнее, первая формуловка того, что возникло во мне как-то невольно и бессознательно, — писал он своему биографу Я. Н. Колубовскому. — Но я помню ясно, что начиная с этого времени, и чем далее, тем упорнее, я думал об одной этой идее до 3-го курса университета ‹…›. Логическое совершенство этой идеи было полно, но я не был только ее теоретиком. Будучи убежден в ее верховной истинности, я и свой внутренний мир, и свою внешнюю деятельность стал мало-помалу приводить в соответствие с нею. ‹…› Вследствие практических попыток осуществить ее и вследствие постоянного анализа своей души и своей деятельности, в 22–23 года я стоял перед этой идеей, как очарованный, бессильный оторваться от нее и бессильный далее следовать за нею ‹…›” (автобиография В. В. Розанова (письмо В. В. Розанова Я. Н. Колубовскому) — “Русский труд”, 16 октября 1899 года, стр. 26).

Но вот «волжская» биография была как бы оставлена им на берегах реки, его вскормившей, и с Московского университета (1878–1882) стал он плести другую нить своей жизни. Переход к созерцательному мировосприятию сразу же дал свои первые результаты: ему открывается понятие Бога. “К Б‹огу› меня нечего было «приводить»: со 2-го (или 1-го?) курса университета не то чтобы я чувствовал Его, но чувство присутствия около себя Его — никогда меня не оставляло, не прерывалось хоть бы на час” (“Опавшие листья. Короб второй”. 1915, стр. 319). Но Бог Розанова особый. “Свой Бог” Розанова”- так подчас определяли его конфессиональную проблему. Действительно: “Авраама призвал Бог: а я сам призвал Бога…”- это и «воспоминание» Розанова и самоопределение (“Уединенное”). «Богостроительство» Розанова — отдельная страница его творческой биографии, требующая самого тонкого анализа розановской души. Ошибка здесь может привести к полному непониманию Розанова и его творческого пафоса — а ошибиться очень легко, так как Розанов сам вольно или невольно оставлял много “ложных следов”.

Так или иначе, переворот действительно совершился: изменилось и существо его творческой деятельности, которая отныне все больше и больше подчиняется наличной реальности и приобретает отчетливый «пассивный» характер. Эта «пассивность» проявилась главным образом в присущем Розанову комментаторстве гениальном, оригинальнейшем комментаторстве. За исключением немногих книг (“Уединенное”, “Опавшие листья”, “Апокалипсис нашего времени”) необъятное наследие Розанова, как правило, написано по поводу каких-либо явлений, событий. Это видно явственно.

Идейный переворот, пережитый Розановым в студенческие годы, создал как бы развилку сознания, которую он так и не преодолел в себе до конца жизни. Отсюда, думается, вытекает чудовищная розановская антиномичность сознания. В культуре это явление беспрецедентное. Антиномии Розанова возникли из действительности его чувствования и внутреннего пафоса. Так, его открытая религиозность прорывается иногда буйным атеизмом. Розановской свободе, отличающейся нетерпимостью ко всякому авторитаризму, сопутствует внутренний детерминизм. Его социальный анархизм часто переходит в сугубую государственность. Почти натуралистическое признание наличного бытия сочетается с полным игнорированием фактов, доходящим иногда до мифологических пределов. Постоянная борьба с «позитивностью» современного века соседствует с глубоко спрятанным позитивизмом сознания. Внешне он, казалось, не тяготился этим, даже гордился:

“На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Это “координаты действительности”, и действительность только через 1000 и улавливается”. Такая “теория познания” действительно демонстрировала необычайные возможности специфически его, розановского, видения мира. Однако она же порождала немало внутренних трудностей, которые ему пришлось пережить. Двуликость, расщепленность сознания и усиленная рефлексия привели Розанова к глубокой жизненной драме, которую он стал осмысливать только на исходе своих дней. Драма эта заключалась во все большей и большей потере чувства действительности и, как следствие, в фатальной обреченности на неучастие в ней. “Странник, вечный странник и везде только странник”. Это были его сухие слезы.

“Ни одно мое намерение в жизни не было исполнено, а исполнялось, делалось мною, с жаром, с пламенем — мне вовсе не нужное, не предполагаемое и почти не хотимое, или вяло хотимое”.

Жар и пламень сопровождали Розанова всегда. Начинал он свою творческую биографию как философ. Первая его большая работа — классический философский труд “О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания” (М. 1886). Книга в сорок печатных ластов, по словам самого Розанова, была “посвящена рассмотрению ума человеческого и устройству, расположению системы наук, реальных и возможных (потенциально в уме заложенных)” (В. Розанов, “Злое легкомыслие” — “Новое время”, 24 марта 1904 года). Книга прошла незамеченной, что было воспринято ее автором как полная неудача, и после трехлетнего «онемения» (до 1889 года Розанов ничего не печатал) он навсегда оставил «классическую» форму философствования. Случайное знакомство с Н. Н. Страховым и С. А. Рачинским открыло Розанову путь в журналы консервативного направления, и в 90-е годы XIX века он целиком уходит в публицистику. “Огненная встреча” с К. Н. Леонтьевым (май — ноябрь 1891 года) обострила розановские консервативные идеи до ультраправых пределов.

Однако настоящей темой Розанова, открывшей новую эпоху его творчества, стала тема пола. Этот третий период выявляет наконец оригинальный розановский подход к действительности, но в то же время оказывается осложнен как перипетиями биографии Розанова, так и исторической ситуацией в России. Он мог еще быть «глухим» к “событиям на улице”, но “боль биографии” никогда не оставляла его равнодушным. А тема пола теснейшим образом связана с его биографией.

После неудачного брака с А. П. Сусловой, известной также и по биографии Ф. М. Достоевского (Суслова оставила Розанова без развода, что в условиях тогдашнего положения о браке было непреодолимым препятствием новой женитьбе), Розанов вступил в «незаконный» брак (скрепленный тайным венчанием). Жена оказалась на положении любовницы, а пять человек детей — незаконнорожденными. Драматическую ситуацию семьи Розанов «увидел» в 1896–1898 годах, когда он начал понимать, что может оставить детей сиротами, а жену без права на какую-либо социальную помощь. “Таким образом, — писал он А. А. Александрову, — счастье и страдание мое личное удивительно замешалось в эту тему”. Поводом его обращения к теме пола оказалось письмо в газету одной женщины в связи со съездом сифилитологов. Розанов начал писать Комментарий к Письму одной женщины. “И вот комментарий к Письму женщины стал переходить в несчастье, в исследование самой женщины. Тут открылась тема пола: и едва я подошел к ней, как увидел, что, в сущности, все тайны тайн связаны тут в узел. Если когда-нибудь будет разгадана тайна бытия мироздания, если вообще она разгадываема — она может быть разгадана только здесь. Вообще — никто и ничего об этом не знает, кроме того, что это есть как факт: полный эмпиризм, над которым я захотел поднять лампу. “Дальше в лес — больше дров” — и я Вам объясню только, что в обширное исследование, насколько уже оно написалось, введена разгадка Гоголя — в его психике, Лермонтова (“демонизм” его), Достоевского, Толстого; и затем Платона, коего «Федр» и «Пир» мною комментированы, как “Легенда об Инквизиторе”; до сего доведена моя работа, перевалившая за 320-ю страницу моего обычного письма, когда я бросил ее, чтобы перейти к фельетонам для “хлеба насущного”; в дальнейшем плане она обнимет — в самом кратком замечании Пифагореизм, подробнее Элевзинскне таинства; очень подробно — Сиро-финикийские культы и Египетские секреты. Затем восход — к Библии и, наконец. Предвечному Слову, распятому на кресте. Дело все в том, что, как я открыл без всякого труда через исследование своих родных писателей — Гог‹оля›, Лер‹монтова›, Дост‹оевского›, Толст‹ого› — половое чувство как-то связано с религиозным мистицизмом. Это какая-то таинственная ли жизненность, в меня влитая, или прямо Перст Божий: но я догадался, что узел этого — в младенце, который правда “с того света приходит”, “от Бога его душа ниспадает”; и дело в том, что пол, о коем мы ничего не постигаем, есть в самом деле как бы частица “того света” (письмо Розанова А. А. Александрову [январь 1898 г.]. — ЦГАЛИ, ф. 2, оп. 2, ед. хр. 15, л. 65–68).

В этих планах заключается вся последующая мысль Розанова, ставшая основанием его будущих сочинений. Именно здесь, в “теме пола”, раскрылась природа естественных целей, к которым он обратился в студенческие годы, отказавшись от “искусственных целей”, от своего утопического сознания. Тема была найдена, и его “жар и пламень” целиком были отданы, семье и браку, разводу и проблеме незаконнорожденных детей. Розанов весь погрузился в культуру семитского Востока, ветхозаветных преданий и в египетскую культуру. Отсюда, с увлечения “египетскими секретами”, начали развиваться в скрытом виде его антихристианские идеи. Консервативный ригоризм 90-х годов стал смягчаться, появилась терпимость к «иноверию», выявились интересы к сектантству и т. д. К этому же времени относится и знакомство с «декадентами» (Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым), собственно, извлекшими Розанова из литературного захолустья, в которое к началу XX века превратилась консервативная печать. Начинает расти его слава как одного из первых “законодателей духа”.

Усилия Розанова, направленные на утверждение в обществе культа семьи, который мог бы, по его мнению, обновить разрушающийся современный мир, сопровождались многими трудами. Были опубликованы книги: “В мире неясного и нерешенного” (СПб. 1901; изд. 2-е. 1904), “Семейный вопрос в России” (СПб. 1903, тт. 1–2). Остались неопубликованными “История семьи в России”, некоторые книги по смежным проблемам, касающимся темы пола и “религии семьи”. Социологи должны обратить внимание на это богатое наследие писателя, одного из самых ревностных строителей русской семьи. Но как и при жизни Розанова, когда общество было всецело занято “глобальными проблемами”, так, судя по всему, и сейчас разгадку Розанова пытаются найти в иных темах. Тогда как главный нерв творчества Розанова — семья.

Реализация творческого гения у Розанова всегда была связана с его личностью. Он насквозь проживал свои темы. Розанов неотделим от своей «литературы», а «литература» его неотделима от тех тем и проблем, которыми он бывал захвачен. Особенной “плотностью отношений” Розанова и темы отличается его встреча с культурой семитского Востока.

Розанову не только открывались картины ветхозаветной жизни — он идентифицировал себя с древним иудеем и обладал вполне «ветхозаветными» качествами. Проникновение в душу древнего иудея родило целый ряд превосходных работ по психологии и быту ветхозаветной жизни (см. “Юдаизм”-“Новый путь”, 1903, № 7-12; “Чувство солнца и растений у древних евреев”-“Новый путь”, 1903, № 3; и др.). Страстность, нетерпимость к иноверию, непоколебимая уверенность в себе и своем деле, любовь к Богу — вот психология Розанова. Надо снова прочесть его “Ответ г. Владимиру Соловьеву” (“Русский вестник”, 1894. апрель) или же “По поводу одной тревоги графа Л. Н. Толстого” (“Русский вестник”, 1895, № 8) и другие статьи 90-х годов, чтобы убедиться в том, что перед нами человек с ветхозаветной нетерпимостью, ветхозаветный русский. Если же, кроме этого, мы учтем «богостроительство» “своего Бога” у Розанова, то в целом мы смогли бы быть свидетелями того, как образ священной истории Израиля рождается в истории личности Розанова. “История сливается с лицом человека. Лицо человека поднимается до исторического в себе смысла”.

Однако когда он занимался проблемами брака и развода, он заботился о русской семье, в педагогических темах его “Сумерек просвещения” он решал проблемы русской школы, а в своих литературных штудиях он занимался почти исключительно русскими писателями. Ветхозаветный Израиль и Египет были нужны ему как мировые высоты, с вершин которых он мог оценивать русские идеалы. Это была его “вселенская истина”, и она не допускала к Розанову «национализма». Даже в таком сложном политическом событии, которое потрясло русскую жизнь, так называемом деле Бейлиса, Розанов был «чист», несмотря на крайние его увлечения. Рассматривая “дело Бейлиса” и участие в нем Розанова, можно было бы извлечь из него (для исследования) и некое “дело Розанова”. Розанов в круговороте событий отстаивал себя и свое, преданность завету, заключенному со своим Богом, хотя политически в тот момент им легко было «воспользоваться». Важно понять, что и так называемое юдофильство и так называемое юдофобство Розанова росли из одного корня — из невозможности для него находиться на либерально-гуманистической поверхности при истолковании вещей, которые он чувствовал как сакральные, идущие из глуби мировой истории, роковые; невозможности удовлетворяться формально юридическими подходами современной ему позитивистской эпохи.

Если бы Розанов нарушил этот «завет», то после 1911 года мы, возможно, увидели бы закат Розанова, полный конец его в культуре. Но, отстояв себя, Розанов уже после события отказался от сочинений по “делу Бейлиса” (нераспроданный тираж своей книги “Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови” приказал ликвидировать. Это — на 2 тысячи рублей). И свои выступления он признал ошибкой. Это было в 1917 году (до октябрьских событий). И вот теперь Розанов с еще большей силой и уверенностью отстаивает преданность завету со своим Богом, открыто выступив против Христа. Он следовал неукоснительно путями законников и фарисеев и так же слепо “распинал Христа”. Это была последняя страница его “ветхозаветной истории”. Преданность Розанова своему пути была беспримерной. Она напоминает фанатизм законника Савла. И возможно, что Розанову могла бы быть уготована участь обращения Савла в Павла. Линия его религиозного возрастания была столбовой, а события в России только начинались. Почти с уверенностью можно заявить, что проживи он пять — десять лет, и ему пришлось бы разделить мученический конец с миллионами своих соотечественников. И неизвестно, какое сердце увидели бы его последние свидетели. Шло “лихолетье на Руси”, и Розанов физически его не перенес в самом начале. “Черные воды Стикса прорвали последние заслоны и затопили его сердце”.

Это было 5 февраля 1919 года по новому стилю, когда ему было шестьдесят три года и девять месяцев с небольшим.

Подготовка текста, вступительная статья и комментарий ВИКТОРА СУКАЧА.

Русский Нил

“Русским Нилом”[1 - Тема Египта оказалась для Розанова сквозной. После первых публикаций на эту тему (см.: “О древнеегипетских обелисках” — “Торгово-промышленная газета”, литературное приложение от 21 марта 1899 года; “О древнеегипетской красоте” “Мир искусства”, 1899. № 10. 11–12, 15) Розанов не раз обращался к ней (см.: «Египет» — “Золотое руно”. 1806. № 5), а в конце жизни подготовил капитальный труд” Из восточных мотивов” (Пг. 1916–1917. вып. 1–3. Остальные семь выпусков не опубликованы). С четвертого выпуска он хотел назвать свою книгу “Возрождающийся Египет”. “Египетские мотивы” в творчестве Розанова вызывали живой интерес таких ученых, как В. А. Тураев, Н. П. Лихачев, Н. Н. Глубоковский.] мне хочется назвать нашу Волгу. Что такое Нил — не в географическом и физическом своем значении, а в том другом и более глубоком, какое ему придал живший по берегам его человек? “Великая, священная река”, подобно тому, как мы говорим “святая Русь” в применении тоже к физическому очерку страны и народа. Нил, однако, звался «священным» не за одни священные предания, связанные с ним и приуроченные к городам, расположенным на нем, а за это огромное тело своих вод, периодически выступавших из берегов и оплодотворявших всю страну. Но и Волга наша издревле получила прозвание «кормилицы». “Кормилица-Волга”… Кроме этого названия, она носит другое и еще более священное — матери: «матушка-Волга»… Так почувствовал ее народ в отношении к своему собирательному, множественному, умирающему и рождающемуся существу. “Мы рождаемся и умираем, как мухи, а она, матушка, все стоит (течет)”-так определил смертный и кратковременный человек свое отношение к ней, как к чему-то вечному и бессмертному, как к вечно сущему а живому, тельному условию своего бытия и своей работы. “Мы — дети ее; кормимся ею. Она — наша матушка и кормилица”. Что-то неизмеримое, вечное, питающее…

Много священного и чего-то хозяйственного. И «кормилицею», и «матушкою» народ наш зовет великую реку за то, что она родит из себя какое-то неизмеримое хозяйство, в котором есть приложение и полуслепому 80-летнему старику, чинящему невод, и богачу, ведущему многомиллионные обороты; и все это «хозяйство» связано и развязано, обобщено одним духом и одною питающею влагою вот этого тела «Волги», и вместе бесконечно разнообразно, свободно, то тихо, задумчиво, то шумно и хлопотливо, смотря по индивидуальности участвующих в «хозяйстве» лип и по избранной в этом хозяйстве отрасли. И вот наш народ, все условия работы которого так тяжки по физической природе страны и климату и который так беден, назвал с неизмеримою благодарностью великую реку священными именами за ту помощь в работе, какую она дает ему, и за те неисчислимые источники пропитания, какие она открыла ему в разнообразных промыслах, с нею связанных. И «матушка» она, и «кормилица» она потому, что открыла для человеческого труда неизмеримое поприще, все двинув собою, и как-то благородно двинув, мягко, неторопливо, непринужденно, неповелительно. В этом ее колорит.

Все на Волге мягко, широко, хорошо. Века тянулись как мгла, и вот оживала одна деревенька, шевельнулось село; там один промысел, здесь — другой. Всех поманила Волга обещанием прибытка, обещанием лучшего быта, лучшего хозяйства, нарядного домика, хорошо разработанного огородика. И за этот-то мягкий, благородный колорит воздействия народ ей и придал эпитеты чего-то родного, а не властительного, не господского. И фабрика дает «источники» пропитания, «приложение» труду. Дают его копи, каменные пласты. Но как?! “Черный город”, “кромешный ад”, “дьявольский город”- эти эпитеты уже скользят около Баку, еще не укрепившись прочно за ним. Но ни его, ни Юзовку не назовут дорогими, ласкающими именами питаемые ими люди. Значит, есть хлеб и хлеб. Там он ой-ой как горек. С полынью, с отравой. Волжский “хлеб”- в смысле источников труда питателен, здоров, свеж и есть воистину “Божий дар”…

Нил связался у меня с Волгой, однако, не по этой одной причине. Я припомнил одно чрезвычайно удивившее меня сообщение, услышанное лет семь назад, в самый разгар моих увлечений страной фараонов). Сперва об этих увлечениях. Конечно, не фараоны меня заняли и не пресловутые «касты», на которые, будто бы, делилось население Египта. Я хорошо знал, что эти «касты» никогда не существовали в том нелепом виде, как это представляют нам гимназические учебники, что образование открывало доступ к первым должностям в государстве всякому сыну пастуха или земледельца; а что касается фараонов, то они… царствовали и завещали археологам свои мумии. Великий интерес к Египту проистек у меня из удивления к такому подъему в нем жизненной энергии, сочных, ярких

сил, какого, я твердо знал, никогда не существовало ни в Греции, ни в Риме, ни у евреев. Меня все занимал вопрос, откуда проистекала эта энергия, не опадавшая на протяжении времени, равного протекшему от Троянской войны (XII век до Р. Х.) до наших дней. Греки гениально творили на протяжении каких-нибудь трехсот лет, римляне — на протяжении четырех столетий, но Египет, не уставая, весело, с улыбкой творил начиная уже с 4-й своей династии, по крайней мере за три тысячи лет до Р. Х., и до этого самого Р. Х., когда александрийские художники славились еще изяществом и вкусом своих работ, а знаменитая библиотека, основанная Птоломеем-филадельфом, видела в стенах своих первых ученых тогдашнего мира. И все это без усталости, без исторического утомления, без того утомления, которое после 1500 лет самобытной европейской истории так явно легло на все народы Западной Европы, французов, отчасти немцев и англичан, на полувыродившихся итальянцев, испанцев, португальцев, не говоря уже о жалком отребье, оставшемся от «эллинов». И как я угадывал не без основания, что родник жизни всякого народа лежит в его отношениях к трансцендентному миру, в его понятиях о Боге, о душе, о совести, о жизни здесь и судьбе души после смерти, то, естественно, меня и заняла мысль проникнуть в "святая святых" племен, поклонявшихся каким-то странным Аписам и «волооким» Изидам.[2 - Апис — в египетской мифологии бог плодородия в облике быка. И з и д а (Исида) — в египетской мифологии богиня плодородия, символ семейной верности.] Это у Гомера имя Геры, верховного женского божества, всегда сопровождается эпитетом «волоокая», "с бычачьими глазами", «boopis». "Что за красота?" — посмеивались мы гимназистами. Но когда я стал заниматься Египтом, то догадался, что Гера новенького греческого народца приходится кровною внучкою Изиде с берегов Нила, которая изображалась (не всегда) в виде женщины, но с головою коровы или (чаще) в виде молодой, красиво сложенной коровы, с разумными, почти говорящими глазами. «Boopis», очевидно, осталось эпитетом от этих древнейших изображений ее бабушки. В Греции она стала полным человеком, без малейшего атрибута четвероногого, но «глазок» этого четвероногого сохранила.

Вдруг я узнаю, что один архилиберальнейший издатель в Петербурге, все издающий книжки по естествознанию и социологии, нечто вроде покойного Павленкова, имеет обыкновение каждые два года хоть раз съездить на берега Нила, — так просто "отдохнуть и погулять", по-русски. На мое изумление мне рассказали, что привлекают его вовсе не феллахи и английское владычество в Египте, но памятники древности; однако привлекают не как археолога и историка, ибо он не блистал этими качествами, а как живого человека, вот именно как издателя архилиберальнейших книжек, "самых современных и самых нужных". Удивлению моему не было конца. "Он просто любит это зрелище Египта, древнего, прежнего, сочного, яркого; он находит, что это очень напоминает нашу Волгу, но только напоминает как что-то осуществленное и зрелое свой ранний задаток, свою младенческую фазу. То есть Волга — это младенчество, а Нил времени фараонов это расцвет. И любитель Сен-Симона и социализма, немножко и сам социалист, бродит около старых сфинксов с мыслью, что около Нерехты, Арзамаса и Казани могли бы стоять не худшие. Что придет время, и бассейн Волги сделается территорией такой же цветущей, хлебной, счастливой в здоровой цивилизаций, как в побережье великой африканской реки".

Признаюсь, это удивительное сообщение, услышанное мною совершенно случайно, в мелькающем разговоре без темы, заставило меня взглянуть с совершенно новой точки зрения на наших радикалов. Несомненно, вот уже пятьдесят лет в них бьется какой-то сильный пульс. Несомненно, они куда-то ведут Россию. Их почему-то любят, за ними идут. Идут за их честностью, прямотою, решительностью, готовностью к жертвам. И куда они приведут Россию? Порыв пока ясен в одном: в направлении к сочности, жизни, цвету народной и вообще человеческой жизни, без теснейших определений. Но я не думаю, чтобы это «безбожное» движение, каким оно выступает сейчас, и до конца осталось таковым. Когда-нибудь оно захочет молитв, поднимет глаза к небу, задумается о гробе и жизни. И тогда каковы будут эти молитвы? Куда? Кому?

Как бы то ни было, но, услышав приведенное сообщение, я крепко пожал руку оригинальному петербургскому либералу, которого никогда лично не встречал, хотя я знал его фамилию, как ее знает вся Россия. "Вот еще на какой почве русский человек может сойтись с русским человеком: не на вкусовом и симпатическом сочувствии, а la Чаадаев, к католицизму,[3 - Розанов не разделял взглядов П. Я. Чаадаева (см.: В. Розанов, "Чаадаев и кн. Одоевский" — "Новое время", 10 апреля 1913 года). На предложение А. И. ДоливоДобровольского преподнести ему "прекрасный и редчайший портрет Чаадаева масляными красками его времени" Розанов отвечал: "Я не успел, точнее, не решался Вас поблагодарить за предложение портрета Чаадаева. Хотя сам Чаадаев не из моих любимцев литературы и истории, однако портрет по Вашему описанию так замечателен, что мне хочется по крайней мере взглянуть на него, конечно, не решаясь принять драгоценного дара. Только осторожное замечание: из рук Ваших он непременно должен перейти в Музей. Я думаю о Домике Пушкина. Это было бы превосходно" (ЦГАЛИ, ф. 419. оп. 1. ед. хр. 271, л. 5–6).] не на соловьевской теократии, не на протестантских чаяниях молодого нашего священства, а на вкусе, симпатии… просто к сок у, силе и цвету бытия и жизни, на Ниле или на Волге". Кстати, этот год вышла небольшая монография об одной египетской легенде г-на Сперанского[4 - См.: Д. А. Сперанский. Из литературы древнего Египта. СПб. 1906; вып. I; Рассказ о двух братьях.] в связи с вариациями той же темы в европейских сказаниях. При чтении ее меня поразило следующее: в египетских надписях, в папирусах собственные имена фараонов всегда сопутствуются предшествующими им предикатами: "жизнь, здоровье, сила". Это что-то вроде нашего "благочестивейший, самодержавнейший". С этим постоянным устремлением ума на биологический, виталистический принцип жизни как было не прожить три-четыре тысячи лет? Все росло, все росли в "жизнь, здоровье, силу". Это уже не наше "надгробное рыдание".

И вот мне захотелось взглянуть на эти тихие воды, может быть, будущие «воды», в смысле далекой и новой судьбы, какая сложится на этих берегах для нашего племени. Сказал же о нем Лермонтов вещие слова: "Россия — вся в будущем".[5 - Ср.: ‹У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем" (М. Ю. Лермонтов Сочинения в 6-ти тт. М. — Л. 1957, т. 6. стр. 384).] Сказал и обвел в своей черновой тетради эти слова чертою, как особенную и преимущественную свою веру, как свое горячее убеждение и предвидение.

Детство мое все прошло на берегах Волги — детство и юность. Кострома, Симбирск в Нижний — это такие три эпохи «переживаний», каких я не испытывал уже в последующей жизни. Там позднее я как-то более господствовал над обстановкою. Сам был зрелее и сильнее, и, словом, внутренняя моя жизнь, движение идей и чувств уже набирали впечатление улиц, площадей, церквей, реки. Не то в детстве, о котором и мамаши говорят, что "дитя — как воск, на него что ляжет, то и отпечатается". И вот я помню эту Кострому, — первое самое минное, тягучее, бесконечное впечатление. Знаете, взрослый человек как-то больше года, — хотя и странно их сравнивать, — и от этого год ему кажется маленьким, коротеньким, быстро проходящим. Годы так мелькают в возрасте 40–50 лет. Но для шестилетнего мальчика год — точно век. Ждешь и не дождешься Рождества, и точно это никогда не придет. Потом ждешь Пасхи, и как медленно она приближается. Потом ждешь лета. И этот поворот лета, осени, зимы и весны кажется веком: Ползет, не шевелится, чуть-чуть, еле-еле…

Дожди… Вообразите, что господствующим впечатлением, сохранившимся от Костромы, было у меня впечатление идущего дождя. У нас

были сад, свой домик, и я все это помню. Но я гораздо ярче помню впечатление мелкого моросящего дождя, на который я с отчаянием глядел, выбежав поутру, еще до чая, босиком на крыльцо. Идет Дождь, холодный, меленький. На небе нет туч, облаков, но все оно серое, темноватое, ровное, без луча, без солнца, без всякого обещания, без всякой надежды, и это так ужасно было смотреть на него. Игр не будет? Прогулки не будет? Конечно. Но было главное не в этом лишений детских удовольствий. Мгла небесная сама по себе входила такою мглою в душу, что хотелось плакать, нюнить, раздражаться, обманывать, делать зло или (по-детски) назло, не слушаться, не повиноваться. “Если везде так скверно, то почему я буду вести себя хорошо?”

Или утром — опять это же впечатление дождя. Я спал на сеновале, и вот, бывало, открыв глазки (дитя), видишь опять этот же ужасный дождь, не грозовой, не облачный, а «так» и “без причины”, — просто «дождь», и «идет», и «шабаш». Ужасно. Он всегда был мелок, этот ужасный, особенный дождь на день и на неделю. И куда ни заглядываешь на небе, хоть выбредя на площадь (наш дом стоял на площади-пустыре), — нигде не высмотришь голубой обещающей полоски. Все серо. Ужасная мгла!

О, до чего ужасно это впечатление дождливых недель, месяцев, годов, целого детства, — всего раннего детства.

“Дождь идет!” — Что такое делается в мире? — “Дождь идет”.-Для чего мир создан? — “Для того, чтобы дождь шел”. Целая маленькая космология, до того невольная в маленьком ребенке, который постоянно видит, что идут только дожди. — Будет ли когда-нибудь лучше? — “Нет, будут идти дожди”. — На что надеяться? — “Ни на что”. Пессимизм. Мог ли я не быть пессимистом, когда все мое детство, по условиям тогдашней нашей жизни зависевшее всецело от ясной или плохой погоды, прошло в городе такой исключительной небесной «текучести». “Течет небо на землю, течет и все мочит. И не остановить его, и не будет этому конца”.

И не настало «конца», пока нас, маленьких двух братьев, не перевезли из Костромы в Симбирск.[6 - Опекун Васи и Сережи, старший брат Николай Васильевич, в Симбирске получил должность учителя гимназии после окончания Казанского университета.] Но тут началось уже все другое. Другая погода, другая жизнь. Я сам весь и почти сразу сделался другим. Настал второй «век» моего существования.

Именно «век», никак не меньше для маленького масштаба, который жил в детской душе.

И вот почти в старости мне захотелось пережить “опять на родине”, пережить этот трогательный сюжет многих великих русских поэтов.

Обыкновенно желающие отдохнуть на Волге отправляются из Петербурга до Нижнего и уже здесь садятся на пароход, чтобы видеть “наиболее красивые берега Волги”. Это большая ошибка. Прежде всего железнодорожный путь, с летнею жарою и пылью, теснотой вагонов и вынужденною неподвижностью является сильным приемом нового утомления на усталые нервы. Во-вторых… берега. Правда, после Нижнего они становятся гористыми, но это наши русские «горы», напоминающие только поговорку: на безрыбье и рак рыба. Действительно, Россия до того равнинная страна, что, всю жизнь живя в ней и даже совершая большие поездки, можно так-таки и не увидать ни единой горы по самый гроб свой. Для такого переутомленного равнинностью соотечественника правый «гористый» берег Волги, правда, кое-что представляет. Но для каждого, кто доезжал до Урала, бывал на Кавказе, в Финляндии и тем более кто видал Тироль и Альпы, «гористый» берег Волги является приблизительно «ничем». А так как “отдых на Волге” предполагает некоторые средства у отдыхающего, то большинство их видали настоящие горы запада и юга и, садясь на пароход в Нижнем, имеют какое угодно удовольствие, но только не от «гористого» берега Волги. Напротив, если бы они сели на пароход в Рыбинске, как это сделал я, они испытали бы чрезвычайно много нового, свежего и поучительного, хотя бы и были заправскими туристами.

Важен не берег, а то, что на берегу. Как и везде в природе, интереснее всего человек. Верхняя половина Волги, до Нижнего, несравненно изящнее, красивее и одухотвореннее нижней тою огромною деятельностью, которая развита на ней именно начиная с Рыбинска. Едва по длиннейшим сходням вы спускаетесь на один из громадных рядом стоящих пароходов, вы точно окунываетесь в “волжский труд”, как что-то своеобразное, в себе замкнутое, как в особый новый мир, который сразу отшибает у вас память Петербурга, Москвы и даже вообще всего “не волжского”. Удивительное ощущение, почти главное условие действительного отдыха, доставляемого Волгою! Пока вы сидите в вагоне, все равно Николаевской или Рыбинско-Бологовской дороги, вы точно тащите за собою Петербург. Его впечатления, его психология, его треволнения — все с вами и около вас, в разговорах, которые вы слышите, в ваших собственных думах. Даже когда живешь на даче очень далеко от Петербурга, уже по тому одному, что она связана непрерывною линией рельсов с Петербургом — этим железом и этим стуком, этою почтою и этими газетами, — вы никак не можете изолироваться от Петербурга и продолжаете, в сущности, жить в нем, но только как бы на очень отдаленной улице, и мало посещаете центры его. Между тем для петербуржца суть отдыха, разумеется, заключается в перерыве петербургских ощущений, в разрыве с Петербургом. В этом отношении не только лучшим, но и единственным способом “обновления духа” является плавание, и непременно не по Финскому заливу, который, естественно, является дополнением Петербурга, «предисловием» или «послесловием» к книге его духа и его истории.

Мерные удары колес по воде не утомляют вас, потому что это ново. Эти удары — мягкие, влажные. Ими почти наслаждаешься, как простым проявлением движения и жизни после того вечного стука и лязга железа о железо или о камень, от которого никуда нельзя скрыться в Петербурге и в Москве и который истощает и надрывает всяческое терпение. У петербуржца в москвича половина душевной силы уходит на борьбу с этими пассивными впечатлениями, вам не нужными, которых вы не ищете, но которые лезут вам в душу, независимо от вашей воли, и каждое из них потому только, что оно влезло в ваше ухо или в ваш глаз — непременно «чиркнет» по вашей несчастной душе, как фосфорная спичка по зажигающей поверхности, и кое-что снимет с нее или покроет каким-то своим, повторяю, для вас ненужным и неинтересным, налетом. Как бы эти впечатления ни были малы, но, уже в силу чрезвычайного их множества, они ложатся чрезвычайным балластом на душу. И я уверен, что так называемая неврастения, или душевное переутомление, столичного жителя происходит не столько от работы его, сколько вот от этих пассивных и ненужных впечатлений, зрительных и особенно слуховых, которые ни с какою работою не связаны, а раздражают даже больше работы именно оттого, что они невольны, неизбежны, что в отношении их чувствуешь себя каким-то зависимым рабом. Со временем, когда-нибудь, медики окончательно об этом догадаются и изобретут какой-нибудь изолятор для ушей, при котором они открывались бы только тогда, когда я хочу слушать. Все люди, желающие не только слушать, но еще и немножко размышлять и вообще жить “про себя” и “с собою”, сторицею поблагодарят медиков за это изобретение. Говорят: «труд» в «труд». Но разве Бернулли и Лейбницы работали меньше теперешних докторов, адвокатов, журналистов? Но они решительно были свежее, бодрее их: и просто оттого, что “в доброе старое время” улицы еще не мостились, конки не звенели, фабричные трубы не дымили и не свистели.

Пассивные впечатления… ими займется когда-нибудь медицина!

Уже на другой и третий день, как я сел на пароход, мне казалось, что я не только никогда не жил в Петербурге и помню его только какою-то далекою памятью, но что я никогда не был и писателем. До того новый мир, “волжский мир”, охватывает вас крепко своим кольцом, не дает пробудиться ничему из прежнего. Писем и не ждешь, тогда как прежде три раза в сутки почтальон “подавал почту”. Газеты, во-первых, только на больших пристанях, а во-вторых, они до того являются запоздавшими против “сегодняшнего дня”, что как-то не хочется и взглянуть. Да и сверх того натуральный, естественный мир самой Волги, панорама которой все шире раскидывается с каждым часом и сутками, решительно кажется вам интереснее всяких возможных политических новостей. Чувствуется, что здесь живут века: века строили эти городки и села, и, кажется, век стояла вот эта миниатюрная лавочка, где я покупаю чайную посуду. Сидит в ней и продает чашки какая-то «тетенька», а до нее торговала ее «маменька», а до них обеих — их «дедушка». И всегда то это «было», не началось и не росло, а только было и дышали. И все на Волге, и сама Волга точно не движется; не суетится, а только «дышит» ровным, хорошим, вековым дыханием. Вот это-то вековое ее дыхание, ровное, сильное, не нервное, и успокаивает.

Людей на пароходе, сравнительно с городскою улицею, конечно, слишком мало. И это тоже очень хорошо, и даже слишком хорошо. Все молча становятся «знакомыми», запримечая друг друга некоторым ласковым примечанием. Не образуется опять-таки той “толпы без лица”, вечно новой и куда-то уходящей, которая в Петербурге и Москве проходит перед вашими глазами, как бесконечная лента шляпок и «котелков». “Фу, пропасть! Устал!” — этого вы не говорите на пароходе, видя, как вчера и сегодня усаживается за свой «чаек» та же чета, или семья, или одиночки. Манеры каждого помнятся, и образуется, повторяю, молчаливое ласковое знакомство всех со всеми, не утомляющее, не раздражающее и развлекающее.

Несколько практических советов для туристов: пароходы всех решительно компаний, вероятно, нуждою соперничества, сведены к совершенно одинаковой плате за проезд и совершенно одинаковы в смысле комфорта, величины, хода и проч. Так что как одинаково покупать булку у Филиппова, Савостьянова или Бартельса, так совершенно одинаково садиться на пароход «Самолета», или “По Волге”, или “Бр. Каменских”. Все они теперь так называемой американской системы, которая дивила и чаровала лет тридцать назад взор волжан первыми пароходами этой системы: “Император Александр II”, «Колорадо» и «Бенардаки». Теперь этих пароходов нет, но все таковы же: только самолетские некрасивого розового цвета, “По Волге”- белого (очень красивого) и, кажется, других обществ — тоже белого. Белая стройная громада, быстро движущаяся по реке, чрезвычайно красива. Практическое замечание об одинаковости всех пароходов важно в том отношении, что делает совершенно ненужным телеграфный заказ себе каюты из Петербурга или Москвы: всегда в течение полусуток вы можете отыскать себе свободную и удобную каюту на пароходе, отправляющемся через 1-2-3-5 часов, и это не составляет многих хлопот, так как все пароходные пристани рядом. Далее, если бы вы сделали эту ошибку — заказали по телефону, то ни в каком случае не заказывайте первого класса, а второго. В старой конструкции пароходов, не “американской системы”, действительно была разница между первым классом, который помещался наверху, и вторым, который помещался внизу, в корпусе корабля. В случае пожара, столкновения и вообще несчастия с пароходом, днем или, особенно, ночью, положение пассажиров второго класса было гибельно, ибо каюты его быстро заливались водою, а выбежать из них нельзя было скоро; в этом отношении первый класс представлял огромные преимущества. Но при “американской системе” оба класса выведены на верхнюю палубу, каюты совершенно одинакового размера по величине и по всему убранству, и пассажиры обоих классов пользуются всею верхнею палубою, обнесенной барьером и ничем не разгороженною, не отделенною, совершенно слитою. Единственная разница заключается в том, что столовая первого класса имеет несколько великолепных кожаных кресел, тогда как во втором классе мебель столовой — гнутая, буковая, тоже превосходная в смысле комфорта и изящества. Второй класс помещен на кормовой палубе, первый — на носовой. Вот и все. Разница до того ничтожна, что кажется нелепым самое разделение на «первый» и «второй» классы. Поэтому при большом рейсе, и особенно если поездка совершается семьею, причем цена билетов становится уже значительною, — ни в каком случае не следует брать каюты первого класса. Несколько десятков рублей, выигрываемых при этом, гораздо лучше истратить на том же пароходе на что-нибудь более приятное.

Два слова о бескультурности, о нашей русской молодой бескультурности, которая объясняется не отсутствием ума или уменья, а вот именно только молодостью, неопытностью, недосмотром и какою-то именно молодою торопливостью, ажиотажем или застенчивостью. Например, в столовой первого класса есть рояль, но за восемь дней путешествия только один раз случилось, что одна пассажирка сыграла после обеда несколько пассажей, галантно попросив позволения у присутствующих. Между тем музыка так приятна на реке, что естественно было бы, если бы вечером перед ужином или после обеда «присутствующие» просили кого-нибудь в среде своей побаловать их роялью. И выслушали бы с простой благодарностью не первосортную музыку. Первосортная музыка требует и первосортного слушателя. Зачем эти претензии?

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь.

как сказал наш Пушкин о книжном русском учении, и то же самое можно повторить о художественном и о музыкальном русском учении. Средний уровень слушателей, естественно, поблагодарил бы за среднюю музыку, и, безусловно, среди пассажиров, и особенно пассажирок, каждый день и каждый час были такие средние музыканты и музыкантши: это было видно по лицам, по платью, ибо “немножко музыке” у нас все учатся из известного круга. Но никто из них не сел за рояль по этой вот бескультурности, по этой почти мещанской мысли: “А вдруг среди слушательниц и слушателей кто-нибудь знает в музыке больше меня и внутренне посмеется надо мною”. Какое-то уже априорное предположение вражды и насмешки к себе в слушателях; какая-то и своя вражда к этим слушателям. Фу, как это неумно!

В этой же столовой шкап с книгами — крошечная пароходная читальня. Опять как умна мысль! Но каково ее выполнение? «Рим» Э. Золя и еще несколько его же романов; Гончаров, Достоевский и несколько беллетристов из более новых. Почему «Рим» и зачем вообще Золя на Волге? Я пересмотрел заголовки всех книг: ни одной нет, относящейся до Волги. Это до того странно, до того неумно, что растериваешься. Между тем, строя огромный пароход, ставя на нем рояль, меблируя его великолепной (совершенно ненужной) мебелью, что стоило поставить в книжный шкап «Волгу» Виктора Рагозина — огромное и дорогое (рублей 16) издание со множеством карт и объяснительных рисунков, вышедшее лет двадцать назад[7 - См.: В. Рагозин. Волга. Т. 1–3. СПб. 1880–1881.] и, вероятно, именно по серьезным своим качествам не нашедшее ни рынка, ни читателей. Нет даже кратких путеводителей по Волге — ничего! Нет описания

хотя бы какого-нибудь приволжского города! Между тем у нас есть “Географический словарь Российской империи”-многотомное издание академика Семенова,[8 - См.: П. Се м е н о в-Т я н-Ш а н с к и й. Географическо-статистический словарь Российской империи. Тт. 1–5 СПб. 1863–1885.] где есть исчерпывающие, хотя и сжатые, научные, не художественные описания решительно всякого местечка в России, и в том числе, конечно, Волги и всех не только городов, но и сел по ее берегам! Конечно, этому «Словарю» первое место на волжских пароходах. Есть целая литература о Нижегородской ярмарке, о движении товаров по Волге, о гидрографических свойствах и русла и течения Волги, но из этого ничего нет, ни одного листка в «читальнях» волжских пароходов. Наконец, если уж брать «развлекающую» беллетристику, то отчего было не взять “В лесах” и “На горах” Печерского, это великолепное и единственное в своем роде художественное воспроизведение быта раскольников по верхней (лесной) Волге и по нижней (гористой) Волге! В составлении читальни выразилось глубокое неуважение пароходных компаний к своим пассажирам, которое на самом деле свидетельствует только о глубоком невежестве самих этих компании. И между тем нельзя поверить, чтобы в составе «правлений» их не было людей очень образованных и умных. Просто “не пришло в голову”, “не догадались” вот этою молодою недогадкою 17-летнего юноши или только что кончившей курс гимназистки.

На стенах столовой — ни одного политипажа приволжского города, тогда как естественно ожидалось бы встретить здесь «виды» всех значительных городов. Это так ведь легко! И наконец — что составляет уже совершенное и необъяснимое варварство, — ни на котором из двух лучших пароходов общества «Самолет», на которых я ехал; “Князь Юрий Суздальский” (ходит до Нижнего) и «Гоголь» (от Нижнего до Астрахани), нет карты Волги и нет даже карты Российской империи, по которой бы можно было следить пассажирам, где они будут, к какому городу пристанут в ближайший час, какая река впадает в Волгу в этом-то месте и проч.! Между тем в Петербурге на Финляндском вокзале висит громадная карта Финляндии, и на ней все железные дороги ее и другие пути сообщения; реки, каналы, озера, все, что может быть нужно или любопытно пассажиру узнать.

Варварство! Дикое варварство!

И между тем эта грошовая претензия на интеллигентность: “Князь Юрий Суздальский” (знание до некоторой степени частностей истории), «Гоголь», “Достоевский” (якобы любовь к литературе!). И такое невежество в простой грамоте!

На ночь в каюте, прекрасной, благоустроенной, пытаюсь запереть окно, выдвинув его из-за жалюзи которое весь день прекрасно затеняло каюту. Ушиб руку, ссадил палец и должен был вызвать звонком слугу, который наконец и справился: наложил крючок на петлю. “Так просто?” — удивитесь вы. Но что же делать: крючок привинчен к движущейся деревянной раме так низко, что не может свободно вращаться вокруг своей оси, а упирается кончиком в подоконник. Окно (в задвигающейся раме) было в течение дня открыто, и предательский крючок уже наставился, так сказать, “упрямым лбом” в подоконник. Его следовало бы спичкой или гвоздиком предварительно приподнять и затем выдвинуть раму. Но, не ожидая западни в таком месте, я просто сильно дернул раму из пазов. Тогда “упрямый лобик” крючка плотно уткнулся в подоконник. Рассмотрев дело, я уже пытаюсь приподнять крючок спичкою. Не тут-то было: он “плотно уперся”, спичка ломается, а он в том же положении. Дергаю — не поддается. Тогда, чтобы расслабить крючок в его «упорстве», я чувствую, что раму надо еще дальше задвинуть внутрь пазов. Тогда все ослабнет, и я подыму крючок за «носик» спичкою. Но рама уже до края задвинута, и дальше подвинуть невозможно. А потому невозможно и ослабить упершегося крючка, а следовательно, и приподнять его, а с тем вместе и закрыть все окно! Я до того поражен глупостью и чепухой всего этого дела, что стал сильнее и сильнее дергать раму, думая, что она хоть сколько-нибудь приподнимется в пазу, крючок сделает оборот около оси и все дело кончено. Ничего не вышло, и я с болящей рукою зову слугу, который, рванув раму мужицкою силою, действительно заставил ее подняться на тот нужный миллиметр или два миллиметра, которые дали крючку повернуться около оси, и рама выдвинулась!

Но, добрый читатель, ведь это целая метафизика народного характера! Пароход стоит миллион, на нем всяческие приспособления: машины, рояль, чудная мебель, «читальня». Почему же, когда делали раму, не выбрать было или крючка покороче на два миллиметра, или привинтить его к движущейся раме на два миллиметра выше! Наконец, отчего слуге не доложить капитану, что в “этой каюте окно не запирается”, а капитану, взглянув, не приказать поставить другой крючок или переместить старый! Вдобавок, уже приехав в Кисловодск, я узнаю, что именно на пароходе «Гоголь» всего за сутки, как мы сели на него, убили и ограбили в каюте первого класса пассажира. Может быть, именно при незапертом окне! И даже, может быть, того несчастного пассажира, который пытался запереть более фундаментальное окно и, не достигнув цели, «плюнул», как говорится, на дело и положился на одно легонькое жалюзи, крючок коего отпирается без всякого затруднения и шума через сквозные отверстия между палочками жалюзи, для чего достаточно иметь длинный гвоздь с загнутым концом. Грабитель и убийца, бесшумно отодвинув жалюзи, мог столь же бесшумно войти через него в каюту и задушить и убить спящую жертву, не дав ей и вскрикнуть.

И после этого не осмотреть крючков! Как и не назначить дежурств около кают многочисленной прислуги парохода, не занятой ночью. Ничего! Где же метафизика этого? Одна молодость нации? По крайней мере не одна она: еще пассивность народная, эта ужасная русская пассивность, по которой мы оживляемся только тогда, если приходится хоронить кого-нибудь. Тогда мы надеваем ризы, поем, кадим. Великолепно! Красота, поэзия, движение — точно все обрадовались. Но вот похоронили мертвого, остались люди жить.

И всем так скучно, так сонно!

Удивительная нация, которой «интересно» только умирать!

Громадные новые мануфактуры и старинные церковные городки чередуются по верхнему течению Волги. Я назвал эти древние исторические города «церковными», потому что в самом деле “храм Божий” был единственным не частным, не личным достоянием в городе, единственным местом, где собирался народ и где он единился в общих молитвах, обрядах, в уповании и таинствах, и, следовательно, единственным выражением его культурной и политической физиономии. А затем, до нашего времени, “храм Божий” сохранился и единственным историческим памятником города. Кроме его, что же еще, положим, в Нерехте, в Плесе, в Юрьевце, в Макарьеве? За чертою храмов, вне круга богослужений, уже начинается совершенно частная, пофамильная жизнь; начинаются те “семейные хроники”, один образец которых оставил нам С. Т. Аксаков. Жизнь эта, бесполезно медлительная, почти стоячая, везде сходная, в каждом доме, во всяком дворе, есть уже достояние литературы, поэзии, бытовой живописи. Здесь каждый мазок, положим, живописца изображает и момент и вечность, ибо относится равно и к концу и к началу XIX века, да даже, пожалуй, и к XIX и к XVII веку. Я сказал, что это “стоячая жизнь”, и мне грустно, что тут есть упрек, которого в душе у меня нет: “стоячее”- я говорю не в ином смысле, как

назвал бы «стоячим», не изменяющимся, и наше лицо. И оно изменяется так медленно, как будто вовсе не изменяется. Но в этой своей недвижности оно, конечно, живет. Так и быт в XIX веке уже чуть-чуть не то, что в XVII, но именно чуть-чуть. Так же доят коров, выгоняют их в поле, делают из молока творог и сметану, любят, женятся, рождают, умирают; рассказывают о колдунах и разбойниках; мечтают о царе, царице и царевиче. И надо всем этим единственною историческою фигурою стоит «поп», который крестит, венчает и хоронит по обрядам Византии. “По обрядам Византии”, а не по обычаям Нерехты; и как сказали это слово, так и началась история, открылась связь народов, судьба и водоворот культур. “Византия”- это павшее язычество, начавшееся христианство. Здесь приходи Иловайский[9 - Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — историк и публицист. Розанов, уклоняясь от прямой полемики с ним, не упускал случая выразить свое скептическое отношение к его трудам.] и пиши свой труд взамен поэтических страниц Аксакова, Тургенева и Некрасова.

Вот почему я и говорю об этих городках: «церковные». Исторического в них только и есть церковь, храмы. И как, же хороши они, например, в Романове-Борисоглебске, двойном городке, раскинутом на обоих берегах еще неширокой здесь Волги! Самые имена в одного и другого города, в Романова и Борисоглебска, говорят о самом начале нашей история, о князе Романе (неужели Галицком?)[10 - Романов-Борисоглебск- уездный город Ярославской губернии, располагался как два города на обоих берегах Волги. Романов основан в XIV веке не Романом Мстиславичем (умер в 1205 году), князем галицким (с 1199 года), а великим князем Романом Васильевичем, сыном ярославского князя Василия Давыдовича.] и святых убитых братьях Борисе и Глебе. Если связать все это с недалеким Ярославлем, получившим свое имя от Ярослава Мудрого, мстившего Святополку Окаянному за умерщвление Бориса и Глеба, то вот и все зачало русской истории. Грустная история. И как-то сумела же она сохранить не только имя, но и колорит, или «наваждение», святой среди таких сцен убийства, братоневавидения и кровавых распрь. Читаешь подробности: все, кажется, дрались, убивали. Одно ослепление Василька Ростиславича чего стоит: нанятый раб вырезал ножом глаза предварительно связанному князю, который смотрел, как этот раб точит нож, смотрел последним смотрением очей своих и знал, что он готовится сделать, и заплакал последними слезами… Бррр!.. Но вот умерли все; посыпал всех землицей исторический «поп». Собрат его летописец Пимен принялся за “Повесть временных лет” — “откуда есть-пошла русская земля”. И все стало «святым». Чудное действие воображения и исторической перспективы.

Только еще в Москве есть такие прекрасные церкви, как в Романове-Борисоглебске и Нерехте, да не знаю, сравнятся ли и московские. Пишу наугад и потому только, что московские мне тоже очень нравятся. Но когда я смотрел на эти палевые, темно-желтые или светло-серые колоколенки, высокие, остроконечные, с маленькими окошечками-просветами на все стороны; когда смотрел (у других церквей) на совершенно крошечные ярко-золотые главки, выделяющиеся на синем фоне купола храма, мне казалось, что ничего лучшего не только нет, но и нельзя себе вообразить, нельзя пожелать. “Вечно бы молиться в этом храме” — внушить эту мысль, вызвать это расположение не есть ли задача вообще церковного строительства? И если она вызвана, в сущности, “избушечкой на курьих ножках” (по величине и незамысловатости всего), то ведь что до этого за дело? Почему храм должен быть величествен, огромен, изящен, пропорционален, «Парфенон» или “Пропилеи”?! Нипочему. Храм должен быть просто храм, то есть чтобы вот молиться Богу. Должно быть, в русской душе есть что-то бесконечно прекрасное в отношении ее к Богу, милое, простое, доброе, что она создала такие для себя храмы, создала медленным тысячелетним созиданием. Уверен, в Греции таких нет. И нигде нет. Это вовсе не “влияние Византии”, ибо ведь строили их уездные маленькие зодчие, ну — губернские, но вообще «какие-нибудь», не Растрелли, не Тоны и проч. Отчего же этих московских приходских церквей или вот романово-борисоглебских и нерехтских нет в Петербурге, в Одессе, где ученые архитекторы уж конечно знают хорошо “византийский стиль”? Нет, тут провинциальный наш вкус, тот милый вкус, который дал кружево и аромат таким приволжским созданиям, как, например, «Обрыв» Гончарова, или тургеневским “Запискам охотника”. Это воздвигла не “православная вера” и даже не «христианство», которые воздвигли же в других местах св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, кельнский и страсбургский кафедралы. Нет, просто это “русская вера” создала себе каморочки, где она молится, где она теплится. И как это хорошо!

С печалью я думаю, и давно думаю, что пройдет время — и развалятся эти кирпичные уездные церковки. И вот будущий историк даже не поймет, о чем я здесь говорю: до такой степени отлетит память о них. Ибо, кажется, никто не сохраняет для исторической памяти и нигде в подробностях красок и размеров не воспроизведены эти уездные “избушечки на курьих ножках”. Святейший Синод за два века своего существования не озаботился составлением генерального описания всех российских монастырей и церквей.[11 - В это время завершалось издание, на отсутствие которого жаловался Розанов. — “Православные монастыри Российской империи” (М. Издание А. Д. Ступина. 1908. 984 стр.). Полный список всех 1105 ныне существующих в семидесяти пяти губерниях и областях России (и а двух иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин. С кратким топографическим, историкостатистическим и археологическим описанием, библиографическими примечаниями, статистической таблицей и четырьмя алфавитными указателями. С указанием ближайших к монастырям почтовых и железнодорожных станций. Со ста десятью рисунками в тексте и картой монастырей (в две краски) на вкладном листе. Составил Л. И. Денисов. Действительный член Московского общества любителей духовного просвещения, церковно-археологического отдела при нем и Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины города Москвы и Московской епархии.] “Генерального”-это прежде так говорилось о всем «всеобщем»: “генеральная карта России” и проч. Генеральное значило «универсальное», “исчерпывающее”. Это в ту пору, когда Россия была помешана на генералах, пли, деликатнее, “чувствительно тронута” ими…

Когда мы подъехали к Кинешме, то, завидев издали такие-то вот две церковки на окраине города, за садами и в садах, я не утерпел и, так как пароход грузился у пристани два часа, решил осмотреть их. Взял возницу. Подъем. Пыль. Какие-то лавочки. Бульварчики. Бредут жители. Сонно, устало, жарко. Что-то копают, кажется, новый затон. Это по части “мануфактуры и торговли”, и я спешил далее, к старой исторической Руси. Но вот показались и корпуса церквей с золотыми главками над синим куполом. Соскакиваю торопливо с возницы, иду по лестницам (церковь, дальняя, поставлена высоко на пригорке, укрепленном каменною кладкою). Какой-то мальчик.

— Как пройти в церковь?

Оглянулся и бежит дальше… Точно никогда людей не видал.

Как же мне пройти в церковь?

— Эй, дяденька, как бы мне пройти в церковь?

Этот «дяденька» лежит на лавке и спит около церкви…

Дяденька пошевелился. Я его растолкал.

— Что вам угодно?

— Мы проезжие. С парохода. Нам хочется осмотреть церковь. Вы сторож будете?

— Сторож.

— Так вот, пожалуйста, отоприте. Взглянуть. Путешественники.

— Что это вы? Разве я могу своею властью. Спросите разрешения у отца настоятеля.

— А где отец настоятель?

— А вон домик, раскрытые окна.

Пошел. В воротах встретил какого-то гимназиста и гимназистку. На мой вопрос ответили: “Там”.

Иду «туда». Торкнулся в крыльцо. Отворилось. В дверь — тоже не заперта Кухня, таз, мыло и умывальник. Торкнулся в следующую дверь.

— Кто там?

— Мы.

— Чего нужно?

— Путешественники. С парохода. Хотим осмотреть церковь и пришли попросить у батюшки разрешения отпереть и показать нам. Сторож говорит, что не может без разрешения о. настоятеля.

Но я напрасно уже говорил дальше. Никакого звука «оттуда» не последовало. Опять повторяю. Опять стучу! Ничего! Заперлась баба, верно, «матушка», и не из добрых, и, чтобы не беспокоить «батюшку», а вместе с тем и не вступать в пререкания, решилась просто не отзываться. Этот стук в дверь, когда я знаю, что за нею сидит живой человек, этот мертвый и безответный стук до того меня раздосадовал, что и сказать не умею. Очарованность как слетела. Казенная вещь, а я думал — храм. Просто — казенная собственность, которая, естественно, заперта и которую, естественно, не показывают, потому что для чего же ее показывать? Приходи в служебные часы, тогда увидишь. Казенный час, казенное время, казенная вещь. А теперь час сна.

Я шел. И на душе сумрачно. Обхожу кругом храма, который все-таки очень хорош. Сбоку, смотрю, дверца открыта, то есть в фундаменте, и я вошел в полутемный сарай — хлев — погреб, не знаю что. Сырость, гадко, земля и кирпичи. Вижу, стоит тут плащаница. Старинная; живопись полустерта; но несомненно это плащаница, по изображению умершего Христа на верхней доске, или, благочестивее: «дске», “дщице”, а на передней боковой доске какие-то пророки или праотцы, и что-то они говорят, потому что от губ их, входя в губы острым уголком, идут далее расширяющиеся ленточки, на которых написаны изречения, цитаты из этих пророков или праотцев, вероятно, предрекающие пришествие Христа и Его крестную за нас смерть. Несомненно, это как образ, да и, кажется, плащаница считается еще святее образа: с каким благоговением к ней прикладываются в Страстную пятницу и субботу! Но куда же ее поместили? Это гораздо хуже сарая, это-хлев, и даже более черное место, которое страшно назвать. Запах был несносный, тяжелый. — Верно, эта старая плащаница, прежняя, не употребляемая более. И вынесена, так сказать, без священства в несвятое место.

Все, с кем я был, думали так же.[12 - Розанов путешествовал по Волге со всей семьей.] Пошли спросить сторожа, ибо за плащаницу мы были смущены и почти испуганы. Но сторож куда-то ушел. Обошел вокруг церкви. Дворик, должно быть, сторожа. Вошел туда. Смотрю: женщина в положении католических мадонн чистит самовар. Следы юбки, расстегнута рубашка, груди наружу, молодая и нестесненная.

— А где сторож?

— Не знаю.

— Это что у вас за плащаница там?

— Плащаница.

— В сарае?

— Это не сарай, а место.

— Как “не сарай, а место”: это хуже сарая, там пахнет, грязь и сор, всяческое.

— Ну так что же?

— Как “что же”. Верно, есть другая плащаница, новая, а это-прежняя, вышедшая из употребления. Тогда другое дело. Вы, верно, тетенька, не знаете.

— Знаю я, что другой плащаницы в церкви нет. А что открыли место, и вам бы не надо туда заглядывать, то для того, чтобы просушить. Сыро там.

Еще бы не «сыро». Как в могиле. И какая ирония: поместить в самом деле “Христа в гробу”, что изображает собою плащаница, в такую ужасную яму, под фундаментом, грязную! Воистину “в могилу”! Но как это сделано, конечно, без всякой имитации и уподобления грозному и ужасному событию Иерусалима,[13 - См.: Матфей. 27, 57–60; Марк. 15, 42–47; Лука. 23. 50–55.] а по кинешемскому небрежению, то невозможно не сказать, что эта «простота», грубость и бесчувственность стоят западного острословия.

Ну, эти кинешемские Ренаны, пожалуй, отрицают не меньше парижского, только на другой фасон.[14 - Ренан Эрнест Жозеф (1823–1892) — французский историк и писатель. Признавал историческое существование Иисуса Христа, но отрицал его божественное происхождение.] А впрочем…

Я сел на извозчика.

— А впрочем, “казенное место”!

Пыль, жара, барышни, гимназисты, мост и строящийся затон. А вот и наш «Самолет» и пароход “Князь Юрий Суздальский”.

В Ярославле мне захотелось отслужить панихиду по недавно почившем архиепископе Ионафане[15 - Ионафан (в миру Иван Наумович Руднев; 1816–1906, 19 октября) — архиепископ Ярославский. Дядя Варвары Дмитриевны, жены Розанова, по линии отца.] — человеке добром, простом, чрезвычайно деятельном, но деятельном без торопливости и ажитации. Потеряв рано жену и имея дочь, он постригся в монашество, но сохранил под монашескою рясой сердце простого и трудолюбивого мирянина, отличный хозяйственный талант и благорасположенное, внимательное сердце простого и трудолюбивого к мириадам людей, с которыми приходил в связь и отношения.[16 - Надо учесть, что Розанов отрицательно относился к монашеству как институту христианской церкви.] За это он получил название «отца», несшееся далеко за пределами его епархии. Ничего специфически монашеского в нем не было, но, не рассуждая, он принял с благоговением всю монашескую «оснащенность» и нес ее величественно и прекрасно, веря в нее традиционно, но полагая «кумир» свой не в клобуке и жезле, а в заботе о людях и в устроении надобностей епархии. И так-то он приветливо и хорошо это делал, что имя его благословлялось в далеких краях и рядами поколений. Богословом он не был, принимая целиком и все традиционно. Все из принятого было для него «свято». Но, выразив свое отношение к традиции в этих пяти буквах, он затем уже, не растериваясь и не разбрасываясь, всю энергию живого человека обратил на теперешнее, текущее, современное.

Пароход подходил поздно к Ярославлю, и я поспешил к мужскому монастырю, где погребен преосвященный Ионафан,[17 - Архиепископ Ионафан был похоронен в Спасском монастыре.] пока не заперли ворот. Вот опять эти памятные садики и дорожки монастыря — резиденции местного архиепископа. Только мне показалось, что все теперь запущеннее и распущеннее, чем как было при Ионафане.[18 - Вероятно, Розановы навещали архиепископа Ионафана в 1904 году, совместив поездку в Ярославль с поездкой в Саров, куда семья Розановых ездила в годовщину канонизации святого Серафима Саровского (июль). (См.: Т. В. Розанова, “Воспоминания об отце В. В. Розанове и обо всей семье” — “Новый журнал”. Нью-Йорк. 1975, кн. 121, стр. 176–177.)] Впрочем, может быть, только показалось. По садику бредут… не то монахи, не то послушники, молодые и бородатые, и как будто нетвердою поступью. Подумал, грешный: “Венера в Бахус из древних богов одни перешли к нам; здесь, может быть, и нет Венеры, но царство Бахуса очевидно”. Впрочем, может быть, это все мои преувеличения и из намеков я построил действительность.[19 - Розанов органически не переносил алкоголя. Ср. его статью “Солнце и виноград. Итальянские впечатления” (СПб. 1909).] Иду дальше, подхожу к какой-то арке, соединяющей два здания, и вижу монаха ли, послушника ли, идущего уже явно нетвердою, виляющею походкой и вытянув руки. “Ну, пьян так, что на ногах не держится, и ищет, за что бы ухватиться и поддержаться”. Я смотрел с отвращением, но, подойдя ближе, с удивлением увидел, что это — слепой. Вынув гривенник, кладу ему в протянутую руку (слепой-калека, сам не может пропитываться).

— На что? — переспросил он. Голос резкий, громкий.

— Милостыня.

— Я милостыни не беру. Не нуждаюсь. И он отстранил руку.

Сконфузившись, я сказал, чтобы он поставил свечку над могилой преосвященного Ионафана.

— Это могу.

И он положил гривенник в карман подрясника.

— На что же ты, голубчик, живешь?

— На свои средства. Звонарь. Исполняю должность звонаря здесь.

— Звонаря? Но ведь это надо лазить на колокольню? Как же при слепоте? Он, нащупав дверь и замок, отпер ее.

— Так что же? Слепота не мешает. Я везде хожу и все делаю. И, главное, такой бодрый и крепкий голос, глубоко уверенный в каждой ноте, при очевидной старости монаха ли, послушника ли.

— Вы что же, монах будете?

— Рясофорный. Я рясофорный монах. (То есть имеющий рясу-мантию, довольно величественную.)

Это значит в монашестве то же, что у нас столбовой дворянин. Я стал вежливее и все удивлялся полуудивлением.

— Не хотите ли у меня чаю откушать?

Я и мои спутники поблагодарили его, но обещали зайти на обратном пути, отслужив предварительно панихиду по Ионафану.

Пошли и отслужили по доброму владыке. Мир праху твоему, воистину пастырь добрый.

Любопытство наше было возбуждено, и мы решили завернуть в келью слепого звонаря. Она помещается в фундаменте ли церкви или в толстой старинной стене я не разобрал хорошенько. Во всяком случае три ступеньки от двора ведут вниз, в углубление. И стоит одиноко, не примыкая ни к каким другим кельям. Похоже на сторожку именно звонаря.

Вошли. Все чисто прибрано. Просторно, хоть и не очень. На стенах почему-то несколько часов. На комоде тоже часы. Посреди комнаты новенькая фисгармония. За нею кровать. Прибрано и чисто, но странно.

— Чья же это фисгармония?

— Моя.

— Кто же на ней играет?

— Я играю. — И в голосе его удивление на мои вопросы.

— Как играете, когда вы слепы? Ведь вы не видите клавиш: куда же вы ударите пальцем?

Не отвечая, он сел за фисгармонию, издал несколько приятных аккордов.

— Что же вам сыграть, светское или духовное?

У “рясофорного монаха” мы решались выслушать что-нибудь духовное. Я попросил из пений на Страстной седьмице.

Но как в пении это хорошо, так на фисгармонии выходило “не очень”. Или слух не приучен, или уже те протяжные и монотонные звуки так и сообразованы только с человеческим голосом. Правда, «играть» и «петь» — какая в этом разница! Вероятно, звуки симфоний показались бы тоже нелепыми, попробуй их выполнить через пение.

Была игра, и правильная игра. Я вспомнил “св. Цецилию”, слепую музыкантшу католической церкви.[20 - Святая Цецилия (первая половина III века) — мученица. Почитается как покровительница духовной музыки.] Право, этот деятельный русский монах мне нравился не менее. На этот миг.

Оставив клавиши, он заговорил (на мои вопросы):

— Рано ослеп. Ребенком. Света и не помню. Играю, потому что слух есть. Я все звоны здесь установил, до меня была нелепость, нелепый звон, не музыкальный и не согласованный.

Так как я не понимаю в звоне, то и не мог очень понимать его разъяснений.

Но определение “нелепый звон”, несколько раз твердо им сказанное, запомнил хорошо. Скорей из направления и тона его объяснений я понял только, что наука звона мудреная и сложная, требующая понимания музыки, гаммы; что требуется подбор колоколов и проч.

— И в Ростове Великом звоны я же устанавливал. Там пять звонов. (В цифре могу ошибаться.)

Он говорил явно о системе звона, о методе и тоне, что ли, не понимаю. Очевидно, однако, по твердости и уверенности объяснений и по высокой разумности всей речи, что он был высокий художник этого, в сущности, очень важного дела. Наблюдали ли вы, что по звонам, например, различаются католическая и наша церковь? В католической церкви колокольный звон точно мяуканье кошки. Так вкус выбран. Что-то крадущееся и стелющееся, “иезуитское”,[21 - Розанов был в Италии весной 1901 года и во время празднования Пасхи посещал собор святого Петра в Риме.] у нас звон точно телка бредет. Басок, тенорок и дискант — все в согласии. “Хоровое начало” славянофилов? Не знаю. Во всяком случае для городов и весей русских выбор характера колокольных звонов куда важнее “filioque”,[22 - Филиокве (filio que — “и от Сына”) — учение католической церкви об исхождении Святого Духа от Бога Отца и Бога Сына. Это учение было одной из причин разделения церкви в XI веке.] в котором никто ничего не понимает. Мелодично-грустный “вечерний звон” русских церквей скольких скептиков и сатириков удержал от протеста, критики и сатиры; и, может быть, только благодаря мягкому вечернему звону у нас никогда не зародился ни Вольтер, ни Ренан.

— А для чего у вас не одни часы на стене? Двое, трое… Я обернулся назад, ожидая увидеть еще.

— Это не мои. Я поправляю.

Он указал и на комод, где лежала по крайней мере пара карманных часов.

— Вы поправляете часы?! Изумлению моему не было предела.

— Теперь стар стал и рука не тверда. Волоска (в механизме) не могу поправить, а прежде и волосок мог. Но если волосок цел и неисправны другие части механизма, я чиню хорошо. Разберу, поправлю и соберу.

— Не ошибетесь? Ведь так тонко и сложно все?!

— Как бы ошибался — не брался бы.

По возрасту монаху 45–50. Конечно, из мужичков, и «богословие» тут ни при чем. “Живет по преданию”. Это “по преданию”, мне кажется, естественно заменило «истину» для темного, безграмотного люда. “По преданию” — значит ощупью. Пощупал батюшку-“так верил”,

пощупал дедушку-“так верит”. И так до Николая-чудотворца и святителя Алексия.[23 - Святой Алексий (конец XIII или начало XIV в.- 1378) — митрополит Киевский и всея Руси, митрополит Московский, почитался в народе как чудотворец. Святой Николай (IV в.) — архиепископ Мир Ликийских.] “Все так верили”, — говорит, ощупав всех, слепой мужичок. И заключает: «Так». Как же иначе поступить?

Я вышел с истинным уважением к слепому монаху, наполнившему жизнь свою трудом, деятельностью и пользою. Отчего, при слепоте, он выбрал такие занятия, как поправка часов и установка звонов? Явно его ум был не только деятельный, но предприимчиво деятельный; ум его окрылял и влек, ум был слишком зряч. А глаз недоставало…

Неподалеку от Ярославля расположился на левом берегу красивый Толгский монастырь.[24 - Первоклассный мужской монастырь в Ярославле. Расположен на левом берегу Волги при впадении в нее речки Толги. Основан в 1314 году. Возвращен Русской Православной церкви к празднику тысячелетия крещения Руси.] Белая, высокая каменная ограда отнесена сажен на 50 от берега, в виду, без сомнения, весеннего разлива. Был ранний вечер, все золотилось в солнечных лучах… Красиво погуливали монахи около ограды, и другие, сидя на лавочках, любовались на проходящий пароход.

Толга — богатый монастырь с чудотворною иконою Божией Матери, явившейся здесь на дереве. Толгская Божия Матерь, в подробностях ее написания, одна из прекраснейших икон православия.[25 - Сейчас находится в Ярославском художественном музее.]

Плыли мы и мимо старого Макария — древнего монастыря, по имени которого Нижегородская ярмарка именуется Макарьевскою.[26 - Макарьевская (или Нижегородская) ярмарка — периодический торг в Нижнем Новгороде. Возникла в середине XVI вена возле обители преподобного Макария Желтоводского (1349–1444), на левом берегу Волги. Ярмарка функционировала раз в год в честь праздника в память о преподобном Макарии, отмечавшегося Православной церковью 25 июля (по старому стилю), с 15 июля по 25 августа. После перенесения ярмарки в Нижний Новгород в 1817 году Старый Макарий (город Макарьевск) захирел, и к началу XX века там насчитывалось менее 2000 жителей.] Она, как известно, перенесена в Нижний правительственным распоряжением, а “сама собою” зародилась около Макарьевского монастыря и состояла первоначально из домашних изделий и товаров, приносимых и привозимых богомольцами, стекавшимися с Волги и впадающих в нее рек и речек, ко дню годового праздника преподобного Макария. Есть еще в Решме другой монастырь того же имени, бывший еще недавно мужским, но теперь женский. Любопытна история его преобразования: монахов становилось все меньше, да и те своим пьянством и безобразным поведением только возмущали окрестных крестьян. Наконец монахов осталось что-то человек пять, и монастырские службы не посещались никем. Монастырь надо было закрывать: но Влад. Карл. Саблер[27 - Саблер Владимир Карлович (1845–1929) — обер-прокурор Синода (1911–1915).] придумал другое — обратить его из мужского в женский. Появились “благоуветливые монашенки”, с ними деятельная и смышленая игуменья; запели они свои «стихири» и «псалмы» плачущими девичьими голосами, кроткими и жалобными, и народ кинулся сюда на богомолье и с приношениями. Старое имя и древнее место были спасены.

На пристани в Решме пассажиры парохода выслушивают “напутствующий молебен путешествующим”, и пароход, конечно, пристающий здесь для своих торговых надобностей, не отходит, пока не кончится молебен и все присутствующие не получат кропления св. водою. Все это красиво и народно, и как бы не воспользоваться, чтобы ответить на порыв мирян помолиться тепло и торжественно, но служба (на этот по крайней мере раз) была до невозможности плоха, небрежна, прямо нечистоплотна. Все пассажиры были возмущены; служилось с пропусками молитв, и голоса читающих, поющих и возглашающих точно спросонья или с перепоя.

Вот и красавец Нижний! Я посетил его. Как он переменился, помолодел, покрасивел с 1878 года, когда я его хорошо знал. Теперь там действует фуникулер, почему-то называемый здесь «элеватором», вагончики на зубчатом рельсе, подымающие почти вертикально вверх. Это заменяет прежний медленный и трудный подъем на гору, на которой расположен город. Над гимназией те же две стрелки, к четырем концам которых прикреплены инициалы стран горизонта: “С. Ю. В. З.”. Я помню, что учеником этой гимназии читал роман г. Боборыкина “В путь-дорогу”, и по словам автора, учившегося здесь, его товарищи в ту пору переводили эти буквы: “юношей велено сечь зело” (вместо: “север, юг, восток, запад”).[28 - Ср.: “Гимназия — большое двухэтажное здание с флюгером на крыше обставляла площадь справа и вместе с почтовой конторой стояла у въезда в улицу, ведущую к острогу. Она была выкрашена дикой, сумрачной краской, и флюгер ее очень внушительно торчал в небесном пространстве; он придавал зданию педантский вид, говоря проходящим и проезжающим о своем ученом значении. От палки ко всем четырем сторонам шли железные прутья, на конце которых приделаны были буквы: Ю. В. С. З… Один из учителей математики, отъявленный остряк, переводил эти буквы на понятный язык. “А это значит, — говорил он, — юношей велено сечь зело”” (П. Д. Боборыкин. Сочинения. СПб. — М. 1885: т. 1. В путь-дорогу!.. стр. 55). Боборыкин учился в нижегородской гимназии в конце 40-х — начале 50-х годов.] Милое остроумие, едва ли очень утешавшее тех учеников, на долю которых выпадали роковые две буквы.

Я учился в этой гимназии в директорство Садокова,[29 - Сохранился экземпляр книги Розанова “О понимании” (М. 1886) с дарственной надписью: “Уважаемому и дорогому наставнику Константину Ивановичу Садокову с признательностью и любовью свой труд бывший ученик (1872-78 гг.). Василий Розанов. Брянск, 19 ноября 1886 года” (собрание С. М. Половинкина, Москва). См. воспоминания о Садокове: В. Розанов, “Из дел нашей школы” (“Новое слово”, 1910, август).] который за административные таланты был сделан впоследствии помощником попечителя московского учебного округа. Отличие для директора гимназии неслыханное и небывалое никогда! Действительно, он был очень умен. Деятелен, дальнозорок, предусмотрителен, влиятелен, и даже очень влиятелен, в городе. Голос его, авторитет его везде имел вес. В трудах он был неутомим. Гуманен. Но я имею грех, что почему-то никогда не любил его. Не любил просто потому, что боялся и что он был «начальство». Нужно его было передвинуть не на пост помощника попечителя, а прямо попечителя; тогда этот крепкий русский человек, обаятельно спокойный и ласковый, с железной волей и неустанный с утра до ночи, несмотря на 60 лет, сделал бы очень многое для образования в семи или восьми губерниях, подведомственных московскому попечителю. Но в качестве «помощника» он должен был стать только зрителем тех проделок и гешефтмахерств, какие его начальник, граф,[30 - Граф Капнист Павел Александрович (1840–1904) — сенатор, попечитель Московского учебного округа. Централизованная система образования состояла из учебных округов, в которые входили по семь или восемь губерний. Во главе учебного округа стоял попечитель.] утонувший в долговых обязательствах, проделывал на своем “ответственном посту” с помощью правителя своей канцелярии. Мир праху их всех…

Темное время, не любимое мною.

Дни и ночи плывешь по Волге… Все так же рассекают спицы пароходных колес ее воды… Солнце всходит и заходит, и, кажется, нет

конца этой Волге. “Мир Волги”- как это идет! Свой особый, замкнутый, отдельный и самостоятельный мир. Как давно следовало бы не разделять на губернии этот мир, до того связанный и единый, до того общий и нераздельный, а слить его в одно! Россия, разделенная на совершенно нелепые «губернии», ничему в ней не отвечающие и ниоткуда не проистекающие, на самом деле представляет группу стран, совершенно иного в каждом случае характера, иной природы и со своим у каждой страны средоточием. Что Волга имеет общего с черноморским побережьем? С Кавказом? На Волге даже и не вспоминаются, даже и на ум не идут Одесса или Владикавказ. Просто — не чувствуются, никак не чувствуются. А Рыбинск, например, чувствуется в Астрахани, и Астрахань чувствуется же в Рыбинске. Все это соединено, слито, а Рыбинск и Одесса «разлиты» по разным котлам. Самим Господом Богом разлиты. Тут не надо противиться природе вещей. Не нужно трепетать за единство империи, или, вернее, России, которая тем меньше будет иметь тенденцию рассыпаться, чем более каждая часть будет чувствовать удобнее себя, поместится удобнее для себя географически, хозяйственно и этнографически. Искусственное разделение на «губернии» с отношением каждой губернии только к Петербургу, а не к соседним губерниям или вот не к “матушке Волге” в ее целом — это не может не вредить тысяче местных (приволжских) интересов и нужд, не породить тысячи упущений, не причинить тысяч и тысяч ущербов единичным хозяйствам и не внести в души людей тысяч и тысяч досад и раздражений. К чему все это? Очевидно, «Приволжье», “Приуралье”, «Черноморье», “Кавказ”, «Туркестан», “Балтика”, «Литва», “Польша”-вот естественные «края» и «земли», вот великие «землячества», из которых состоит Великая Русь. Как инстинктивно умно студенты последних десятилетий стали группироваться в «землячества». “Земляк”, “соотчич”-самое натуральное понятие, факт и имя. И никакого тут «разделения», “распада”, «разложения», просто — естественность и удобство.

Начиная с Нижнего, берега Волги резко изменяются: они становятся пустынны и мало заселены, в то же время геологически красивее. Не видно этих постоянных деревенек, громадных торговых сел и частых городов. Чувствуешь, что удаляешься из какого-то людного и деятельного центра на окраину, менее культурную и менее историческую. На Волге в самом деле сливаются Великороссия, славянщина с обширным мусульманско-монгольским миром, который здесь начинается, уходя средоточиями своими в далекую Азию. Какой тоже мир, какая древность — другой самостоятельный “столп мира”, как Европа и христианство. На пристанях все более и более попадаются рабочие-татары. А в Казани пристань парохода уже завалена их «басурманскими» шарфиками, шапочками и туфлями. “Ну, Магометово царство пошло”, — думаешь.

Дюжий, здоровый народ. Во что оценить только одно, что из десятков и сотен миллионов от Казани до Бухары и Каира нет из ихнего народа ни одного пьяницы! Ни одного пьяницы: этому просто, кажется, невозможно поверить! Ведь вино так сладко? Да, но и опий сладок, но он запрещен в Европе. Запрещен, и нет, не манит. Проклятый алкоголь есть европейская форма опия, и если мы не кричим и не визжим при его виде, как закричали бы и завизжали, если бы народ вдруг начал окуриваться опием, то оттого только, что алкоголь у нас «свое», привычное. Но качества в следствия его — точь-в-точь как опия и гашиша: одурение, расшатанность воли и характера, нищенство, преступление, вырождение, смерть.

Поговаривают иногда о религиозном обновлении, о новых чаяниях и горизонтах здесь, о новом пророчестве и новом апостольстве: воистину не принял бы никакого пророка, который не начал бы дела своего с вышиба бутыли с водкою из народных рук. “Пьяный не помнит Бога, пьяный — не мой”- вот с каким первым словом пусть явится новый пророк на Руси. Да и в самом деле, какая религия около пьянства? Какая молитва у пьяного? Какого от него ждать исполнения религиозного закона? По самому существу дела, для каждого пьющего водка и есть «бог», — это его “сотворенный земной кумир”, который его вечно тянет, тревожит, заставляет забывать все, в том числе Бога на небесах. Все пьющие, которые говорят, что они “верят”, — лгут: их пьяный язык плетет, что угодно, песню или молитву. “Слово веры есть у них, но закона веры нет в них и нет, и не может быть памяти Бога”.

“Пьющие — не мои” — вот слово нового пророка.

Проплывая через Казанскую губернию, мы были зрителями странной картины, которая не сейчас объяснилась. Перед носом парохода пересекла путь лодка. “Утонут! Утонут!” — говорили пассажиры в страхе, видя, как несколько мужиков, очевидно, пьяных, что-то неистово крича, ломались, вертелись в лодке, а один из них, перегнувшись за борт лодки, окунулся головою в воду. Но поднялся и махал руками и что-то кричал, потрясая кулаком вслед уже проплывшего парохода и неистово показывал, очевидно, пассажирам парохода, на воду. Точно он толкал кого-то мысленно в воду. Каково же было наше удивление, когда минут через десять на пароходе заговорили, что это — не пьяные, а голодные мужики, из голодающих мест Казанской губернии, и кричали они проклятия прошедшему пароходу и желали ему утонуть или сгореть и чтобы все пассажиры “в воду”! Так как крики не были достаточно слышны, то окунувшийся головою в воду мужик и показал наглядно, чего он и все они, голодные, от души желают плывущим на великолепном пароходе сытым богачам. “В воду вас”, “утонуть вам”, “сгореть вам и утонуть”, “и с проклятыми детками вашими, проклятые”- будто бы слышали с борта и с кормы пассажиры нижней палубы (III и IV класса). Не сейчас это передалось к нам, наверх (II и I класс). Никогда до этого я не видал “голодающих мест”, голодного человека. Не оттого, что ему не было времена или случая поесть день и он поест в даже наестся вдвое вечером, а голодного оттого, что ему нечего есть, нет пищи, у него и вокруг нехватка, как у волка в лесу, у буйвола в пустыне!! Представить себе это в Казанской губернии, в образованной и цивилизованной России, с ее гимназиями, университетами, православием и миллиардным бюджетом!! Просто не умею вообразить! Хоть и видел на лодке, но не верю, что видел. Мираж, наваждение, чертовщина!

Гимназия, ученички в мундирах; почта цивилизованного государства, спокойно принимающая корреспонденцию: “У вас заказное письмо? Две марки”. — “Простое? Одна марка!” — “У меня простое, потому что это записочка к любовнику”. — “Это заказное, потому что отношение к исправнику”. И около этого… человек, которому нечего есть, и он не ел сегодня, не будет есть завтра и вообще не будет есть!!! Бррр… Не понимаю и не верю. Читал в газетах — и не верю, видел — и все-таки не верю!!!

Как может быть то, чего не может быть? Разве “дважды два” уже “пять”.

Вот наконец и вторая моя родина, духовная, — нагорный Симбирск. Я не надеялся когда-нибудь его увидеть, потому что не было и не предвиделось никогда повода спуститься так далеко по Волге. Зачем? Я не странствователь, а домосед. Но выпал случай “хорошенько отдохнуть”, и фантазия отдыха повлекла меня на Волгу.

Мы, гимназисты младших классов, ни разу не рискнули переплыть на лодке на ту сторону Волги: так широка она в Симбирске. Во время весеннего разлива глаз уже не находит того берега, теряясь на глади вод. Берег чрезвычайно крут: и самый город с его «венцом»

(гуляньe над Волгою) лежит на плоском плато, которое обрывается к берегу реки. В симбирской гимназии я учился во 2-м и 3-м классе в 1871–1873 учебных годах,[31 - Здесь и далее у Розанова описка: братья Розановы жили в Симбирске в 1870–1872 годах.] в пору директорства там Вишневского, в пору Луповского, Христофорова, Штейнгауэра и Кильдюшевского, из которых некоторые были известны не в одном Симбирске учебниками или литературно. Всякий, взглянув на эти коротенькие годы (1871–1873) и молоденькие классы (2-й и 3-й), усомнится и не поверит, что же я мог тогда видеть, заметить и пережить? Между тем я пережил в них более новое и, главное, более влиятельное, чем в университете или в старших классах гимназии в Нижнем.

Я не только не встречал потом, но и не могу представить себе большего столкновения света и тьмы, чем какое в эти именно годы (и, вероятно, раньше и позднее потом) происходило именно в этой гимназии. Вся гимназия делилась на две половины, не только резко различные, но и совершенно противоположные, тайно и даже явно враждебные, — совершенной тьмы и яркого, протестующего, насмешливого (в сторону тьмы) света. Прямо из “мамашиного гнездышка” (в Костроме) я попал в это резкое разделение и ощутил его не идейно и “для других”, а ощутил плечом, кожею и нервами, для “своей персоны”, что такое и тьма, что такое и свет. Воистину для меня это было как бы зрелищем творения мира, когда Бог говорит: “вот — добро”, “вот — зло”. Боже, такая разница пережить это разделение или только сознать его, какое богатство и преимущество физиологического ощущения над идейным, головным, когда копаешься-копаешься и вот докапываешься до “умозаключения”.

Здесь чувствует кожа, и все незабвенно!

“Управлял” гимназией Вишневский — высокий, несколько припухлый, “с брюшком” и с выпуклым, мясистым, голым лицом генерал. За седые волосы в седой пух около подбородка ученики звали его «Сивым» (без всяких прибавлений), а генералом я его называю потому, что со времени получения им чина “действительного статского советника” никто не смел называть его иначе как “ваше превосходительство” и в третьем лице, заочно, «генерал». Но он был, конечно, статский. Он действительно «управлял» гимназиею, то есть по русскому, нехитрому обыкновению он «кричал» в ней и на нее и вообще делал, что все «боялись» в ней, и боялись именно его. Все мысли и всей гимназии сходились к «нему», генералу, и все этого черного угла, где, видимо или невидимо (дома, в канцелярии), стоит его фигура, боялись. Боялись долго; боялись все, пока некоторые (сперва учителя и наш милый, образованный инспектор Ауновский) не стали чуть-чуть, незаметно, про себя, улыбаться. Так чуть-чуть, неуловимо, субъективно. Но как-то без слов, без разговоров, гипнотически и телепатически улыбка передалась и другим. От учительского персонала она передалась в старшие ряды учеников и стала по ярусам спускаться ниже и ко 2-му году моего пребывания здесь захватила вот даже нас, третьеклассников (то есть человек пять в третьем классе). Улыбка разнообразилась по темпераментам и склонностям ума, переходя в сарказм, хохот или угрюмое, желчное отрицание. Всего было, всякие были. Улыбка искала себе опора: она ставила делом чести чтение книг, и никогда я (и мои наблюдаемые товарищи) не читал и не читали столько, сколько тогда в Симбирске читали, списывали, компилировали, спорили и спрашивали. Такой воистину безумной любознательности, как в эти 71–73 годы, я никогда не переживал. «Ничего» и «все». С «ничего» я пришел в Симбирск: и читатель не поверит, и ему невозможно поверить, но сам-то и про себя я твердо знаю, что вышел из него со «всем». Со «всем» в смысле настроений, углов зрения, точек отправления, с зачатками всяческих, всех категорий знаний. Невероятно, но так было. Разумеется, невозможно было самому все это проделать: но, на счастье, я плохо учился, выйдя совершенным «дичком» из мамашиного гнездышка, и для меня взят был «учитель», сын квартирной хозяйки, ученик последнего класса гимназии Николай Алексеевич Николаев. С благоговением пишу его имя теперь на старости лет, хотя уже сам классу к пятому вспоминал о нем не иначе как насмешливо и мысленно с ним споря. Но это пусть. Фаза пройдена. А пройти ее, я так особенно и чудесно пройти, я мог только с Н. А. Николаевым.

Небольшого роста, светлый-светлый блондин, с пробивающимся пушком, золотистыми, слегка вьющимися волосами, как я теперь понимаю, он для меня был “Аполлон и музы”. Он сам весь светился любовью к знанию и непрестанно и много читал. Ну, а я был «подмастерье». “Сапожник” и “мальчик при нем”; самое удобное положение и отношение для настоящей выучки. Клянусь, нет лучшей школы, как быть просто «мальчиком», “подпаском” и “на посылках” у настоящего ученого, у Менделеева или Бутлерова. Но мне “настоящий ученый” был бы непонятен и, следовательно, не нужен или вреден: а вот Николай Алексеевич Николаев и был то самое, что нужно было и даже что “Бог послал”. Конечно, он взялся за уроки и стал учить меня, как — не помню. Ни одного урочного занятия не помню. Но он сам, я сказал, непрерывно и много читал, и я просто стал читать то же, что он: сперва Белинского, затем Писарева, Бокля, Фохта и проч. Кончив уроки, я шел к его столику и брал из кучки книжек “что-нибудь неучебное”. Понимал я? Не понимал? Ну, конечно, фактов, сообщений «науки» я не понимал или понимал это в 1/10 доле, но живым, чутким и (в ту пору) безгранично деятельным умом я схватил самый центр дела; не то, что писалось авторами этих книг, а что их заставляло все это писать, за что они боролись, страдали, куда летели. Словом, думаю и вполне уверен (теперь, в 50 лет), что я схватил суть дела, суть, если хотите, всего русского и европейского умственного развития, в 14–15 лет, с свежестью и безграничностью будущего, какая заключена в сути этого возраста! Тем, которые, читая эти строки, сомнительно качают головою, я скажу: но разве между мною, 14-летним симбирским гимназистом, и Боклем с его философской “Историей цивилизации в Англии”[32 - Книга Г. Т. Бокля “История цивилизации в Англии”, столь популярная в России в 60-е годы, вышла в двух томах в издании Тиблена и Пантелеева (СПб. 1863–1865) в переводе К. Бестужева-Рюмина и Н. Тиблена. Перевод выдержал три переиздания. Но наряду с ним существовал другой перевод — А. Буйницкого и Ф. Ненарокомова, который тоже переиздавался три раза.] было больше разницы, нежели между «рыбаком» Петром и И. Христом с его “глаголами жизни вечной”. И между тем не первосвященники, не учители фарисеев, не Никодим, а Петр и Иоанн восприняли слово Христово, полнее всего его уразумели и разнесли всему свету.[33 - См.: “Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских…” (Иоанн, 3, 1). Петр и Иоанн, апостолы, прежде были рыбаками. Это любимая мысль Розанова, которую он по случаю всегда приводит “в пользу малых мира сего”.] Вот почему, не в силах будучи проверить всех «сообщений» Бокля, я в святая святых души его, ума его, характера его, метода его — того всего, ради чего Бокль и жил, вошел, может быть, лучше всех европейских читателей и его переводчика Бестужева-Рюмина. Клянусь, из нас двоих — меня, 14-летнего мальчика, и Бестужева-Рюмина- Бокль прижал бы к сердцу как «своего» именно меня! Ибо я был тот же Бокль, только без «арсенала», без его эрудиции. Но “душа”-то боклевская и потом вот писаревская, фохтовская, Белинского, не вместе, а порознь и преемственно — в эти безумные два года чтения эта душа через посредство той изумительной ассимиляции, восприимчивости, какая свойственна 14-ти годам, — она, эта душа, вошла в меня, росла во мне, жила во мне!.. Чего же им, как учителям, нужно было еще? Конечно, я был лучший их ученик в России и в Европе, и говорю это твердо теперь, в 50 лет.

— Да когда же ты дашь мне покой? — выговорил как-то мой уставший учитель на прогулке или когда мы куда-то шли, может быть, вот на пароходную пристань, где служил начальником конторы (по письменной части) его отец. Этот его вопрос я помню: наконец и он утомился, который сам во мне все пробудил и возбудил милыми, прекрасными, охотными разговорами-рассуждениями-разъяснениями. Утром ли,

встав, я перебегал с своей постели на его; и вечером опять был под его одеялом. Мать его (моя хозяйка) была грубая, жесткая, смышленая и почему-то очень меня не любившая женщина, смеявшаяся над моею заброшенностью, сиротством (без отца и матери) и бедностью; старший его брат был слабоумный; сестра Соня была девяти лет; отец бывал дома только с вечера субботы до вечера воскресенья: остальное время он был занят службою в «конторке» на пароходной пристани «Самолета». Таким образом, не только для меня, но и для него не было вокруг и непосредственно родной атмосферы умственного общения: был только я, как для меня был только он (грубость семьи его, это я подчеркиваю и это сыграло большую роль). Мать его была не только грубая женщина, но и властительница, и от этого, верно, в дому его не появлялось его товарищей, кроме одного, Соловьева, по-видимому, влиявшего на него. Сам он в семье был и подавлен и свободен, уважаем и ценим, но ценим, как ценят 17-летнего даровитого юношу его родители, заработавшие хлеб и давшие ему воспитание (молчаливое требование благодарности и повиновения). В самом дому, в отношениях его со старшими образовалась атмосфера условности, сдержанности и умолчаний. Опять уже для него самого был, таким образом, открыт, чтобы «поделиться», только я один. И он меня никогда не учил, не наставлял, кроме разве первых месяцев моего пробуждения, а жил около меня, но свободно и делясь только со мною, и я тоже жил около него свободно же и делясь только с ним. Но какая это была жизнь…

Сдержанный в отношении к внешним, он был неизменно веселый (без шума), ласковый, остроумный, шутливый, изобретательный, «придумчивый» со мною; и сам-то, все читая и читая, только еще сам многое узнав недавно и вновь, он имел не только охоту, но и потребность делиться знаниями, «горизонтами», идеями, надеждами русскими и европейскими, по части «муз» и рабочего вопроса, критики и публицистики, социологии и политики, — и делился со мною. То есть просто при мне и вслух мечтал, негодовал, восхищался, порицал, смеялся, как и я при нем недоумевал, спрашивал, негодовал, сомневался, — при нем и обращаясь к нему. Должно быть, и даже без сомнения, он нашел во мне душу, единственную по восприимчивости, впечатлительности и любознательности (тогда); такой пожирающей любознательности, желания все знать, во все заглянуть, все разрешить себе, на все построить умственный ответ и разрешение я никогда не испытывал сам и ни в ком никогда не встречал. “Перечитал бы все книги, переслушал бы всех людей”…

Почувствовав такую восприимчивость, он, вероятно, и меня ответно полюбил, как я его; о чувствах мы никогда не говорили. Считали «глупостями» это и вообще всякую нежность, в том числе дружбу с ее «знаками». Просто ничего не говорили о себе и своем отношении, а только о мире, о вещах, о предметах и вообще внешнем и далеком. Я хорошо помню, что мы никогда и ничего не говорили даже об учителях и гимназии (в которой и он кончал курс), о доме или родных: мы исключительно говорили о далеком и идейном…

Не могу иначе передать этих отношений, никогда еще потом не пережитых, как что мы взаимно влюбились друг в друга, влюбчивостью идейной, мозговой, и формально прожили два года в любовничестве страстном и горячем, духовном, спиритуалистическом. Как иначе назвать эти двухгодичные отношения, в которых не было не только дня, но и минуты взаимного неудовольствия, недоверия или подозрительности, неуважения, ни ниточки скрытности. И между тем, собственно, «симпатии», “милого” или чего-нибудь сюда входило так мало, что, разлучившись, мы с ним ни разу даже не обменялись письмом. Между прочим, и по невозможности: «личного» мы никогда ничего друг другу не говорили, а продолжать прежние рассуждения, разговоры, это значило бы бросить учение и вообще все дела, обязанности и только начать писать. Конечно, мы предпочли каждый “уткнуться носом” в свою книгу, расставшись и молча, мы оба погрузились в “дальнейшее чтение”, “развитие”…

Помню, он выписывал на свои деньги газету «Самодеятельность». Уж из заглавия читатель видит, что это была газета, с одной стороны, 60-х годов, а с другой — грядущего “освободительного движения”… Помню и выражение его: “маленькая, но хорошая газета”. Никогда я потом и позднее не видал ее. Казанская или петербургская? Кто был редактор и сотрудники?[34 - См.: «Самодеятельность» (листок “Вестника благотворительности”). Спб. 1870. Выходил два раза в месяц. Издатель-редактор д-р А. Тицнер.] Поступил он на медицинский факультет, где был годом его раньше кончивший курс Соловьев, вскоре умерший. Фигуру этого Соловьева, как друга своего друга, я ярко не помню.

По этим двум лицам, вплотную и без заменения увиденным мною в 1871–1873 годах, я судил потом всю жизнь и до сих пор сужу, что такое тот менее идейный и более психологический перелом, какой около того времени вообще совершился в русской душе, а по зависимости истории от души — совершился и в истории русской. О нем можно было бы и нужно было бы писать целую книгу. Значение его, смысл его, содержание его, многоцветные ниточки в нем неисчислимы, Но для меня выпуклее всего бросается в глаза следующее.

Грубость внешняя. Отрицание всяких «фасонов», условностей; всякого притворства, риторики, лжи. Всего «ненастоящего». Свирепая ненависть к «идеализму» я «утонченности», ибо от Жуковского до Шеллинга именно “идеализм”-то и «утонченность» стали какою-то неприступною и красивою внешностью, за которую пряталось и где мариновалось все в жизни ложное, риторическое, фальшивое, с тем вместе бездушное и иногда безжалостное, жестокое.

— Свирепая правда! — вот лучшее определение перелома. Притом самый перелом совершился до того целомудренно и застенчиво, так сказать, “не смотрясь в зеркало”, что я даже не помню, чтобы слова «правда» и «правдивость» когда-нибудь и у кого-нибудь из «них» фигурировали или даже просто упоминались. Просто шли «боком» и «плечом» к правде, не смотр? ей в глаза (с виду), как будто “не интересуясь этой барыней”.

Все движение было в шутках. Шутка была «колером» движения. Так ведь это и сохранилось потом и до сих пор, когда тон “Русского Богатства”, “Отечественных Записок” или «Товарища» есть шутливый, шутящий, грубо и просто шутящий, если сравнить его с тоном “Вестника Европы”, «Речи» и проч.

Под этой шероховатой, грубой, шумящей внешностью скрыто зерно невыразимой и упорной, не растворяющейся и не холодеющей теплоты к человеку и жизненного идеализма, во всем — в политике, в социологии, литературе, публицистике, «музах» и проч., и проч., и проч. Я не смогу лучше этого выразить, как сказать, что в ту пору 60-70-х годов рождался (и родился) в Россия совершенно новый человек, совершенно другой, чем какой жил за всю нашу историю. Я настаиваю, что человек именно «родился» вновь, а не преобразовался из прежнего, например, из известного “человека 40-х годов”, тоже “идеалиста и гегельянца”, любителя муз и прогрессивных реформ. Этому тогда “вновь родившемуся человеку” не передали ничего ни декабристы, ни даже Герцен: хотя в литературе “этих людей” и трактовались постоянно декабристы и Герцен, даже трактовались с видом подчинения и восторга. Но именно только “с видом”… Если я назову Некрасова около декабристов, Гл. И. Успенского около «великолепного» Герцена, — всякий поймет, что я говорю и насколько основательно говорю…

“Пошел другой человек” — вот слово, вот формула!

Наконец, я не скрою своей внутренней догадки, догадки за 20 лет размышления об этом явлении, так рано увиденном: что перелом этот есть не оплакиваемое, желаемое и не полученное возвращение к “естественному человеку”, о чем говорили Руссо, Пушкин (“Цыганы”), Толстой (“Казаки”) и Достоевский (“Сон смешного человека”), а реальный и как-то даром и “с неба”, простой, добрый, безыскусственный, освободившийся от всех традиций истории. Буквально как “вновь рожденный”. И, чтобы договаривать уже все и сразу окинуть смысл происшедшей перемены, скажем так, что это… возвращение к этнографии, народности, язычеству!

Последний термин нуждается в объяснении: я наблюдал — на людях и ‹в› книгах, в журналах, в газетах, разговорах, — что ничто до такой степени не чуждо этим людям, как хотя бы первый «аз» религиозной метафизики, которая нам известна под формою христианского богословия, чужд и неприятен всякий тон сентиментальной «кротости», “прощения врагу”, «милосердия», “миротворчества”, «непротивления» и проч., и проч., и проч.! Словом, весь тот дух и тон, какой мы соединяем с христианством, жаргон и фразеология его, его мотивировка, его слова и манеры, жесты и причитания, какие имеют “главным складом” своим духовенство и распространены всюду, которые имеют главною книгою Евангелие и действительно пошли от него, — все, все это имеет себе в “мыслящих реалистах”, в Базаровых и Рахметовых такое непонимание себя, такое отрицание себя, такую вражду, гнев и презрение к себе, недоверие и отвращение, что я не умею передать! Да это все знают, все чувствуют! В этой “первичной этнографии”, которую мы чудесным образом опять получили в своих Рахметовых и Базаровых, Писаревых и Добролюбовых, — русский человек станет с “этнографическим любованием” смотреть на еврея, татарина, язычника, тоже «этнографически» посмотрит и на «попа», без вражды, но чтобы он “подошел к нему под благословение” или записался в «братчики» человеколюбивого комитета, им основанного, чтобы он о чем-нибудь начал “по душе” с ним разговаривать, — этого не было, нет, не будет никогда!

Все реальность — в одном!

Все идеология — в другом!

Непреодолимое расхождение! До отвращения, до крови!

Вот мой внутренний взгляд, внутреннее понимание явления, о котором размышляю тридцать лет, которое хотела понять вся наша литература и так и оставила его. Не разгадав, несмотря на кажущуюся его простоту и элементарность. “Пришли новые люди, всем нагрубили и всех прогнали”. Да, они «нагрубили», как остготы римлянам: и ведь никогда римлянин не мог понять вестгота!

Я продолжу о состоянии симбирской гимназии в 1871–1873 годах, так как этот маленький уголок и за небольшое время был, в сущности, тою культурною «молекулою», которая повторялась на протяжении всей России и обнимает приблизительно 30 лет перелома в ее жизни — перелома, до такой степени важного, что я не умею сравнить с ним никакой другой фазис ее истории. “Рождался новый человек” — этим все сказано, ибо из человека родится его история: и когда появилось новое в человеке, то уже наверное все и в истории пойдет иначе.

Вся гимназия разделилась на «старое» и «новое», разделилась в учениках, в учителях. Нового было меньше, около 1/4, 1/5. Но в каждом классе, начиная с самых маленьких (приблизительно с 3-го), была группа лично связанных друг с другом учеников, которые точно китайскою стеною были отделены от остальных учеников, от главной их массы, без вражды, без споров, без всякой распри просто равнодушием! Теперь, 35 лет спустя, это нашло себе выражение в терминах: «сознательный», “бессознательный”, «сознательное», “бессознательное”. Термин очень удачен, ибо он попадает точь-в-точь в суть явления. Тогда этого имени и самого слова не было. Не попадало на язык. Но явление было точь-в-точь то самое, которое теперь охватывается этим явлением.

Масса учеников, 3/4 или 4/5, были, так сказать, реалистами текущего момента. Папаши с мамашами, или, грубее (потому что в их лагере все было грубо), официальные «родители», “власть имущие”, отдали их в гимназию. Гимназия, “казенное заведение”- это было что-то еще более “власть имущее”, нежели сами родители. Робкая, смирная, недалекая, ленивая душа этих учеников, смесь сатиры и идиллии, снизу вверх с необоримым страхом взирала на эту как бы железную крышу всяческих «властей», домашних и городских, семейных и государственных, и, подавленная, только думала об исполнении. Исполнение — оно скучно, сухо. Это “учеба уроков” и “хорошее поведение”. Нужна и поэзия: поэзией и утешением, грубее — развлечением для них служили драки, плутовство, озорство, ложь, обман, в старших классах — кутежи, водка и тайный ночной дебош. Как заключение этого подготовления, как награда за скучные учебные годы, давалась и получалась “казенная служба”, такая или иная, смотря по выбору, склонностям, успехам и связям или общественному положению родителей. В основе все это было лениво и косно. Было формально и без всякой сути в себе. Тоже удачно было это названо в 80-х годах “белым нигилизмом”. Тут не было ни отечества, ни веры, но формы «отечества» и «веры» были. Стояли какие-то мертвые скелеты, риторические выспренности, и им поклонялись мертвым поклонением высушенные мумии, просто с тусклым в себе «я», без порыва, без идеала, без «будущего» в смысле мечты и вообще чего-нибудь, отличного от “того, что есть”.

Люди “как они есть” и поклоняются “тому, что есть” — общее, чем этою формулою, я не умею выразить этого состояния.

Общею внешнею чертою, соединявшею этих людей (мальчиков и юношей), было отсутствие чтения. На ловца и зверь бежит, говорит пословица. Правда, в гимназии не поощрялось чтение, но в глубине явления лежало то, что если бы чтение даже и поощрялось учителями и начальством, ученики эти все равно ничего не стали бы читать по отсутствию внутреннего к нему мотива.

Я склонен думать, что и “русские условия” в самом обширном смысле слова, захватывая сюда не одну политику, но и городской и сословный строй, и церковь, и “учебу”, — все вместе мало-помалу измельчили “русскую породу”, довели ее до вырождения, до бессилия, дикости, черствости, до потери самой впечатлительности, и эта тупость впечатлительности стала не личным явлением, но родовым, наследственным. Откуда и объясняется множеством людей отмеченный факт, что более даровитыми в «обещающими» являются люди с крайне диких русских окраин, «сибиряки», с Дона, с глухой-глухой Волги, из далекого северного края, ибо эти люди выросли вне всяких влияний “русской гражданственности” и “русского просвещения”, которые, как плохой плуг землю, только портят, а не обрабатывают человека.

Отсутствие «чтения» проходило разделяющею чертой не только между учениками, но и между учителями. И они тоже делились на читающих я нечитающих, на любящих книгу и не любящих книгу. Кажется, это странно встретить в учителе гимназии. Между тем уже в 1886 году при первом посещении мною семьи одного учителя русского языка я, на вопрос о чтении его взрослых детей, услышал ответ, сопровождаемый полуулыбкой, полу смехом:

— У нас, в дому, читают одного Пушкина. Дети, жена и я.

— Ну что же, отличное чтение. Одного Пушкина прочитать… — Да не Александра Сергеевича. Мы ужасно любим, собираясь все вместе, читать Пушкина, рассказчика сцен из еврейского быта. Помираем со смеху![35 - См.: И. Н. Пушкин (Чекрыгии). Жидок. Сборник еврейских песен, куплетов. романсов и арий со сценами, в двух частях, с фотографическим портретом автора. Изд. 3-е. М. 1879.]

Не знаю этого Пушкина и в первый и единственный раз о “Пушкине, рассказчике из еврейского быта” я услышал от этого учителя русского языка в русской гимназии, уже прослужившего 25 лет в министерстве народного просвещения и который в этом другом Пушкине находил более вкуса и интереса, нежели “в том, в Александре Сергеевиче”, которого он, однако, по обязанностям службы преподавал ученикам едва очень охотно.

“Нечитающая” часть учителей симбирской гимназии была, естественно, и «непросвещенною». Они были тоже “реалистами текущего момента”. Служба министерству, порядок, благочиние, тишина, исправность. Чтобы ревизии (из Казани, от учебного округа) сходили хорошо да чтобы не было “историй”.

— Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение.

Так «Сивый» директор кричал на ученика, распекая его. Очки его при этом бывали подняты на лоб; брюхо, более обширное, нежели выпуклое, слегка тряслось, и весь он представлял взволнованную фигуру.

Он волновался только от гнева. Ничто другое его не волновало, не трогало.

Этот лозунг — “хорошее поведение, а до остального дела нет” — был дан давно Сивым или даже, может быть, до него. Мы, я в частности, уже вступали в этот режим как во что-то сущее и от начала веков бывшее (детское впечатление), но… чему настанет конец!

“Настанет! Настанет!”

И мы яростно читали.

Да будет благословенна Карамзинская библиотека! Без нее, я думаю, невозможно было бы осуществление этого «воскресения», даже если бы мы и рвались к нему.[36 - Карамзинская библиотека была основана в 1846 году.]

Библиотека была “наша городская”, и “величественные и благородные люди города” установили действительно прекрасное и местно-патриотическое правило, по которому каждый мог брать книги для чтения на дом совершенно бесплатно, внося только 5 руб. залога в обеспечение бережного отношения к внешности книг (не пачкать и не рвать, не “трепать”). Когда я узнал от моего учителя (репетитора) Н. А. Николаева, что книги выдаются совершенно даром, даже и мне, такому неважному гимназистику, то я точно с ума сошел от восторга и удивления!.. “Так придумано и столько доброты”. Довольно эта простая вещь, простая филантропическая организация, поразила меня великодушием и “хитростью изобретения”. “Как придумали величественные люди города”…[37 - Первым председателем правления библиотеки был Языков Петр Михайлович, брат известного поэта, должность перешла по наследству его сыну Александру Петровичу.] Это отделялось всего несколькими месяцами и не более чем годом от времени, когда я уже читал Бокля и конспектировал “Физиологические письма” К. Фохта.

Конспектирование мое произошло через желание все схватить, все удержать и при немощи купить хотя бы одну «собственную» книгу. Книги даются только читать, но ведь я должен их помнить! Как же сделать это, когда я не могу ни удержать книги, ни купить новой такой же? Самый простой исход и был в том, чтобы, возвращая книгу в библиотеку, оставить дома у себя “все существенное” из нее, до того существенное, что, обратившись к тетради, я как бы обращался к самой книге.

Нужно заметить, что о существовании конспектов и вообще о самом методе этого отношения к читаемой книге я ничего не знал (3-й класс гимназии) и ни от кого не слышал. И мой универсальный во всем наставник Н. А. Николаев этого мне не говорил — это я хорошо помню. Вообще он мне никогда ничего не навязывал и не «руководил» ни в чем; эта его благороднейшая черта была и педагогичнейшею. Я рос и развивался совершенно «сам»; только около меня был умный и ласковый, меня любивший человек, тоже смотревший всегда сам в книгу. Конечно, времени сохранялось тем больше, чем конспект был сжатее: тогда все чтение получало более быстрый или по крайней мере сносно быстрый оборот. А ведь мне предстояло сколько прочитать! С тем вместе конспект должен был вполне заменить книгу, ибо и цель-то его была именно в замене книги. Поэтому энергично, с величайшею точностью, торопливостью и вниманием, я, как только ухватился за Фохта или за “Древность человеческого рода” Ч. Ляйэля,[38 - См.: К. Фогт. Физиологические письма. Изд. 2-е. СПб. 1867, вып. 1–2. (Ч. Л а й е л ь) Геологические доказательства древности человека. С некоторыми замечаниями о теориях происхождения видов Чарльза Ляйэлля. СПб. 1864 (на обороте книги заглавие сокращено: “Древность человека”).] я начинал выбрасывать мысленно все лишнее, прибавочное, словесное, все литературные распространения, — это с одной стороны, а с другой — и все остающееся, «нужное», фактически и идейно сжимал в передаче до последней степени сжимаемости.

Мне неизвестно, поступали ли так другие читающие, но это все равно, — идя другими путями, они срывали другие плоды! Но ничего подобного этому “нахлынувшему чтению”, какому-то «потопу» его, который все “срывал с петель”, ломал и переворачивал в старом миросозерцании, точнее — ни в каком миросозерцании, а просто в старой лени и косности, я не запомню ни в последующие годы в нижегородской гимназии, ни потом в университете. Должно быть, не было уже этого возраста, святых этих лет, когда

И верилось, и плакалось,

И так легко, легко…[39 - Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).]

Прошу прощения у поэта, что ставлю применительно к воспоминаниям в прошедшем времени его глаголы…

Старшие классы этой гимназии, в которой я знал много учеников, конечно, «читали» уже гораздо сознательнее и серьезнее, чем мы, и, не вмешиваясь, молча мы прислушивались к их спорам. Совершалось все это на «сборных» ученических квартирах, где в одной комнате жили ученики и 2-3-го класса, и 6-7-го. Нельзя сказать, чтобы мы искали слушать эти споры; нельзя сказать, чтобы ученики старших классов нам «пропагандировали». Они на нас не обращали внимания, но и не стеснялись. Итак, все вышло само собою. Во всяком случае и религиозный, и политический переворот стоял «вот-вот» у входа нашей души. Впрочем, нельзя сказать, чтобы «политический». В определенном смысле этого не было. Имен не было. Было «начальство», “вообще начальство”, русское или французское, — и все это сливалось с Кильдюшевским, Сивым (директор Вишневский) и Степановым, который, бывало, своим грозным, положительно странным голосом говорил:

— Дубъовский, боуан, пошел, стань хожей в угол.

То есть “Дубровский, болван, пошел, стань рожей в угол”.

Он не выговаривал некоторых букв. Дубровский, высокий, худенький мальчик, был выше этого кряжевитого, низкорослого, масляного, бесшумного в движениях (кот) учителя со старомодными бакенбардами. Благодаря тому, что он преподавал математику, а следовательно, и мог каждого сбить в ответе и свести к «богвану», каковое имя им выговаривалось страшно и грозно, мы, бывало, все затихаем, как мертвая вода, перед его уроком.

Нам, читающим, он «богвана» уже не говорил. Вообще удивительная вещь: мы их, учителей, ненавидели и боялись никак не менее, чем нечитающие, косные мальчики. Но, должно быть, что-то и у учителей было в отношении «читающих» учеников: я не помню ни одного случая, чтобы учитель, даже явно ненавидевший подобного ученика, сказал ему, однако, какую-нибудь резкость или грубость, закричал на него. Что-то удерживало. Я помню на себя окрик во 2-м классе “Сивого”:

— Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!

Но это было до «чтения». Случай этот, крик директора, мне памятен по причине первой испытанной мною несправедливости. В перемену мы бегали, гонялись, ловили друг друга по узкому длинному коридору между классами. Все это делают массою. Да и как иначе отдохнуть от сидения на уроке? Но когда в некоторые минуты шум и гам сотен ног становятся уже очень непереносимы для слуха надзирателя (что понятно и извинительно), он хватает кого-нибудь за рукав и, ставя к стене или двери, кричит:

— Останься без обеда!

Это сразу останавливает толпу, успокаивает резвость и смягчает действительно несносный для усталого надзирателя гам беготни и стукотни. Это хорошо и так нужно. Но схваченный и поставленный к стене явно есть “козлище отпущения”, без всякой на себе вины, ибо точь-в-точь так же бегали двести учеников. Это знают и надзиратель и ученики: но для «проформы» такого гипотетического «безобедника» после всех уроков, на общей молитве всей гимназии, все же вызывают перед директора (в этом и суть наказания), говорят; “Вот бежал по коридору в перемену” (то есть худо, что не шел степенно), после чего директор обычно говорил: “Веди себя тише” — и отпускал, в отличие от других настояще виновных учеников. Когда я вышел перед директора, совсем маленький, и он, такой огромный и с качающимся животом и звездою на груди, закричал: “Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!” — то мне представилось это в самом деле кануном исключения из гимназии! И за что? За беганье, когда все бегают.

Я помню хорошо, что когда долго плакал (прямо рыдал), услыхав этот окрик, то это было не от страха исключения, а от обиды несправедливости: “все бегают, а грозят исключить меня одного”. Почему? Как? Весь мой нравственный мир, вот эти заложенные в человека первичные аксиомы юриспруденции, ожидания юриспруденции, были жестоко потрясены.

И между тем в эту же минуту я знал, что этот личный и особенный окрик происходил из-за того, что мой брат и воспитатель (за круглым сиротством), в то же время учитель этой же гимназии и, значит, подчиненный директора, за месяц перед этим перевелся из симбирской гимназии в нижегородскую по причине самых неопределенных и общих «неладов» с начальством. Брат мой не был либералом, но он читал Гизо и Маколея, любил Д. С. Милля и среди Кильдюшевских, Степановых и Вишневских, естественно, был “коровою не ко двору”. Директор был, однако, оскорблен не тем, что он перешел в другую гимназию, а тем, что он сделал это с достоинством и свободно, тактично и вместе с тем чуть-чуть высокомерно в отношении к оставляемому месту. “Мертвые души”, у которых он не выпрашивал ни прощального обеда, ни рекомендаций, ни тех “лобзаний на прощанье”, которые помнятся столько же, сколько съеденный вчера блин, были оскорблены и обижены.

Доктор Ауновский (инспектор) шепнул мне на другой или третий день:

— Вы должны держать себя в самом деле осторожнее, как можно осторожнее, так как к вам могут придраться, преувеличить вину или не так представить проступок и в самом деле исключить.

Сущее дитя до этого испытания (по детскому масштабу), я вдруг воззрился вокруг и различил, что вокруг не просто бегающие товарищи, папаша с мамашей и братцы с сестрицами, не соседи и хозяева, а «враги» и «невраги», “добрые и злые”, “хитрые и прямодушные”. Целые категории новых понятий! Не ребенок этого не поймет: это доступно только понять ребенку, пережившему такое же. “Нравственный мир” потрясся, и из него начал расти другой нравственный мир, горький, озлобленный, насмешливый.

Тут я и начал читать (вскоре) Бокля и Ляйэля и злобно радовался, что мир сотворен не 6000 лет назад, как говорили папаша с мамашей и законоучитель, но что по толщине торфа, наросшего над остатками человеческих построек, по измерениям поднятия морского дна около Дании и Швеции, земля доказано существует не менее 100 000 лет, а гипотетически, вероятно, она существует уже миллионы лет!

Так говорили мои книжки и конспекты, и, слушая, или, точнее, не слушая, законоучителя на уроках, я говорил в себе:

— Знаем, где раки зимуют.

И, оглядываясь на товарищей, которые правили свое поведение перед учителем, договаривал:

— Болваны.

Никак не может быть доказано, чтобы содержалось что-нибудь священное, даже просто специфическое в тех правильно выстриженных фигурках знаний, какие известны под именем “программ учебных заведений” — под именем “программы 3-го класса”, “программы 4-го класса”. Просто собрались чиновники в комиссию и, поковыряв зубочистками в зубах, промямлили, один, что по алгебре нужно пройти то-то, другой — что по Закону Божию нужно пройти столько-то, по истории — что непременно надо выучить германских королей франконской и саксонской династий, а то еще и “Суд Любуши”[40 - См. русский перевод в издании: “Краледворская рукопись. Собрание древних чешских лирических и эпических песен”. Перевод Н. Берга. М. 1846.] и пр. Коньки, выстриженные из бумаги, только не детьми, а “действительными статскими” и “просто статскими советниками”. Что это так, видно из того, что «коньков» этих стригут и перестригают так и этак приблизительно каждые двадцать лет. А потому я совершенно уверен, что наше тогдашнее гимназическое «чтение» — причем уроки, конечно, были не пройдены или полупройдены — по крайней мере дало все то же, что могли дать и эти уроки, но только все вошло в нас в пламенно сваренном виде, как металл из плавильного котла. Но мне и в голову не приходит уравнивать одно и другое. Какое! Мы пережили, точнее переживали, в каждые 2–3 года целую культуру и культуры. Вот trivium и quadrivium ранней схоластики,[41 - Квадривий-четыре учебных предмета: арифметика, геометрия, астрономия и музыка, которые вместе с тремя другими — грамматикой, диалектикой и риторикой (т р и в и и) — составляли круг так называемых семи свободных искусств. На этой базе покоилась школа поздней античности, затем это легло в основу средневековой школы. Различию тривия и квадрнвия впоследствии дано было значение различия между гуманитарными и реальными (естественными) науками.] вот — renaissance, а там подальше и «революция»; у немногих бывала — да, бывала! — и целая «реформация», религиозные перевороты, переходы от веры в неверие и от неверия к вере глубочайшей искренности, чистосердечия, да даже, я думаю, и глубины. Отчего нет? Что опять-таки за специфичность в вопросах Лютера? Да и вообще, если измерять дело” достоинством души человеческой, а не внешними событиями, разыгрывающимися из этих душевных переворотов, если все мерить Божиею мерою, а не человеческою мерою, без тщеславия и искания славы, то непонятно, почему история наших тогдашних душ меньше или незначительнее историй самых знаменитых душевных развитий, о каких записано в биографиях и автобиографиях, в мемуарах и правильно изложенных историях? Об одних рассказано, а о других не рассказано, вот и вся разница. Вспомнишь Ломоносова:

> Герои были до Атрида,
>
> Но древность скрыла их от нас.

То есть и до Ахилла были Ахиллы, но без Гомера они умерли и были забыты, как и вообще все как бы не существует без истории и историков…

Из учеников старших классов симбирской гимназии — вот этих отшатнувшихся от начальства и вставших в новый строй — я помню Михайлова, Викторова, Расторгуева, Есипова, но особенно — братьев Беклемишевых, из которых младший был моим товарищем. Из своих товарищей, выходивших в “новые люди”, — помимо двух братьев Баудер, Рупе (сын местного аптекаря) и особенно Кропотова, который почему-то звал себя и подписывался на записочках: “Kropotini italio”. Что за фантазия? Конечно, потому, что Италия — страна Данта и Петрарки: это-то мы знали и чувствовали и в 3-м классе. Дело и шалости, «развитие» и поэзия, ребячество и чуть не замыслы «потом» перевернуть весь свет — все шло в восхитительном сплетении, узор и красоту узора которого рассматриваешь только вот в 50 лет. Боже, сколько свежести! Боже, сколько веры!

Вот отчего в зрелые свои 50 лет я скажу, что никакая “система образования”, классическая или реальная, никакой лицей или гимназия не дали бы нам большего и, главное, лучшего, чем это «саморазвитие», в какое мы и целая симбирская гимназия тех лет бросились, как странствующие Робинзоны. Удачное имя: именно как Робинзоны, но только со страстью не к морским приключениям, а с определенною и твердою верою, что «там», где-то «дальше», за пределами нашей гимназии и за спинами этих Кильдюшевских и Вишневских, скрывается мир бесконечного и прекрасного идеала, людей истинно добрых и благородных, знаний безграничных, жизни светлой и возвышенной. Еще «подальше» манила нас какая-то благоустроенная и мудрая жизнь народа нашего, или, точнее, всех народов, «человечества». “Но только для этого надо трудиться; этого еще нет; злые люди мешают”. Когда потом, в старших классах гимназии, я читал у Щеглова и Чичерина о Кампанелле и Томасе Море, о «Республике» Платона,[42 - См.: Д. Щеглов. История социальных систем от древности до наших дней. В 2-х тт. Изд. 2-е. СПб. 1891, т. 1. В. Н. Чичерин. Политические мыслители Древнего и нового мира. М. 1897, вып. 1.] то это вошло в мою душу как что-то давно знакомое. И я замечу для историков, что все эти и подобные построения до того естественны и непременны у человека в известную фазу его развития, в фазу среднюю и сливающую‹ся› между научным званием и мечтательностью, между отчуждением от действительности и верою в идеал!

……..

Увеличивая масштаб, скажу так; готовили из нас полицеймейстеров, а приготовили конспираторов; делали попов, а выделали Бюхнеров; надеялись увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, “исполнительных и аккуратных”, а увидели бурю в молнии… Масштаб надо уменьшить, чтобы не впасть в хвастовство, но суть была именно такова. Ведь недаром и есть в психологиях глава о “свободной воле”, и глава эта не выкидывается даже в семинариях. Но там она «проходится», а мы ее показали. “Зачем же, наставнички, вы позабыли собственную главу в преподавании? Или относились к ней как к какой-то словесной схоластике, без того реального чувства, каковое вы сохраняли к чудесам Феодосиев и Антониев? Ну, а мы сохранили реальное отношение к свободной воле. И квиты, даже научно квиты”.

Начальство, министерство, целая половина России вчера удивлялись этим “злым плодам учения”. “Готовили одно, а вышло другое”. Почему? Как? Но дело в том, что решительно всякое учение, как бы его ни кастрировали, ни обрабатывали «педагогически», содержит, однако, в себе непременно взрывчатые силы маленького или большого “renaissance’а”, реформации, революции и т. д.; оно содержит

определенные и не могущие быть выкинутыми из программы сведения против всяческой темноты, закорузлости, традиционности, прямых обманов и лжи, какие вошли, и тысячелетне вошли, во весь уклад старой Европы. Ну, например, эти 100 000 доказанных лет от сотворения мира? Красота маленьких республик Греции и Италии? факт свободной воли? Да и это ли одно? А идеалы литературы и поэзии? «Мертвенность» или «консервативность» школы может заключаться в том только, что все это будет упоминаться глухо, на эти отделы будет накинут покров схоластики. Но не упомянуть об этом все-таки невозможно: просто эти отделы науки, вечного и повсюдного знания! Но преподаватели-то прошли это глухо и мертвенно, а ученики взяли да и оживили! Влили сок и кровь в слова! Возвели школу к реальному!

Для темных и старых сил истории есть только один выбор: не учить вовсе, похоронить науку совсем! Открывать не то чтобы «охранительные» школы, а не открывать вовсе никаких школ. Это можно, то есть можно повести Россию к эпохе печенегов и половцев, к состоянию Кореи или Китая. Можно и это, но ценою бытия, жизни, ибо мертвые, неживые куски истории проглатываются живыми организмами. Тут и биология и Бог — и с этим не справиться ни мудрецам, ни хитрецам, ни повелителям.

— От кого, от кого я мог ожидать этого, а уж не от Михайлова, — воскликнул удивленно директор Вишневский, узнав об аресте и заключении в тюрьму этого “украшавшего гимназию” ученика в первые же месяцы по окончании курса в ней. Заключение в тюрьму было на политической почве: в ту пору для этого достаточно было иметь на столе К. Маркса или что-нибудь из Лассаля, быть в дружбе с кем-нибудь из “ходивших в народ с книжками”.

Этого Михайлова я помню: белый, умеренно полный, благовоспитанный, спокойный. Безукоризненных успехов и поведения. Да и мой репетитор Н. А. Николаев не спускался ниже 2-го ученика, то есть был лучшим в своем классе, а в «поведении» тоже был довольно осторожен. Эта настороженность протеста и негодования вообще была «тоном» гимназии, обусловленным жестоким давлением сверху, бесцеремонностью и нечистоплотностью грозившей расправы. Но под льдом снаружи бежала тем более горячая вода внутри. Я не помню во все последующие годы, ни в нижегородской гимназии, ни в Московском университете, этой силы протеста, этой его определенности и упорства.

Было 11 часов ночи, когда пароход подвалил к Симбирску. Все собирались спать. Но я решился выйти.

Огни города были высоко-высоко над водою. Я знал «подъем» туда, на гору, по которому поздним вечером я подымался долго-долго, когда в 1871 году приехал сюда с братом учителем. Нечего и думать было взойти туда; для этого надо часы (взад и вперед). Но я решился все-таки сойти на берег.

Ничего не узнаю: все ново. Только вот этот огромный, сложный (зигзагами) въезд-подъем. Я оглянулся на пароход и пристань: да, это мостки к пристани такие длинные; они были и тогда, когда, бывало, мы с которым-нибудь товарищем или с моим любимым репетитором ходили на эту самую пристань “в гости” к отцу его, служившему на пароходной конторке. Это мы часто делали, раза два в месяц. И после длинного утомительного пути так-то, бывало, обрадуешься, когда завидишь эти мостки-сходни.

— Сейчас сядем, — и чай с малиновым вареньем.

На обратном пути взбираться было ой как трудно! А кругом, в верхних частях спуска, вишневые сады. Спуск был очень сложен и, кажется, «неблагоустроен» — ради чего можно было с главной дороги сойти в сторону и пробираться какими-то “сокращенными путями”, которые на деле оказывались удлиненными, но зато более интересными, именно; попадались сады не огороженные или с совсем сломанным забором, в которые мы заходили “по пути” и совершенно невольно. Завидев здесь такую бездну вишен, какой нам в не случалось никогда видать дома или у себя в маленьких садах, вишен, по-видимому, никому не принадлежащих и во всяком случае не охраняемых, мы торопливо наполняли ими подолы рубашек, в то же время наполняя и рот. Не понимаю, как мы не отравились: ведь в вишнях содержатся крошечные дольки амильной кислоты, и если съесть их бездну, то отравишься. Но мы положительно съели бездну. Помню, один вечер мы так увлеклись, что и не заметили, как наступила ночь. Со мной был “Kropotini italio”. Мы и не сумели бы выбраться из сада, решительно неизмеримого и стоявшего «где-то»; а главное, боялись поздно за полночь постучаться к своим грозным хозяйкам. Тогда мы решили переждать здесь ночь. Думали, так, проговорим. Но “объятия Морфея” (иначе не выражался о сне мой товарищ) потребовали себе жертвы. Между тем с каждым получасом становилось холоднее. И земля была холодна. Легли отдельно и рядом — холодно. А спать хочется. Мы сняли свои мундирчики и, сделав из них одеяло (пуговицы одного мундира в петли другого), покрылись сей импровизацией и, обнявшись, заснули, не потому, чтобы можно было так спать, а потому, что не могли не спать. Сила нашей молодой природы одолела силу внешней природы: и заснули, и не простудились. С солнышком — опять вишни и вожделенное “домой”.

Бреду… Какие-то рельсы. Ничего подобного не было тогда! Ночь темная-темная, ничего рассмотреть нельзя. “Родина моя, вторая родина, духовна я, — еще важнейшая физической!” Тут первое развитие, первое сознание, первые горечи сердца, — отделение “добра от зла”… Так хотелось бы пронизать все глазом, и нельзя. Я оглядывался, ступал. Заборы, дорожки: все не то, не то, или я не узнавал ничего! Вдруг я почувствовал, что узнал одно:

— Воздух!

Да этот самый, индивидуально этот, “в частности” этот. Читателю странно покажется, как я мог узнать воздух, которым не дышал 35 лет. Но когда, сперва как-то смутно ощутив, что я чувствую вокруг себя что-то знакомое, уже когда-то ощущавшееся, и не зрительно, а иначе, я остановился и с радостью стал спрашивать себя, “что это такое”, то я уже и сознательно почувствовал, что кожа моя, и рот, и ноздри, все существо наполнено и обвеяно вот этим “симбирским воздухом”, совершенно не таким, каков он в Костроме, Нижнем, Москве, в Орловской губернии и Петербурге, где я жил раньше и потом; не таков воздух и за границею или на Кавказе и в Крыму, где я тоже потом бывал. Только в Симбирске — от близости ли громадной реки, от восточного ли положения, — во, мне кажется, я никогда не дышал этим приятным, утонченно-мягким, нежным воздухом, точно парное молоко. Тепло, очень тепло, но как-то не отяготительно-тепло, легко-тепло!

— Вот он! Этот воздух! Узнаю! И тогда в вишневых садах, и на пристани, и у нас в саду на Дворянской (Большой?) улице. Два года дышал им.

Вспомнил, вспомнил! Другого уже ничего не вспомнил: да и нельзя было такая тьма!

Что-то безгранично дорогое хватало меня за душу. И захотелось мне дотронуться рукою до какого-нибудь жилья в нем. Кругом все коммерческие постройки — рельсы и проч. Я стал пробираться далее. Смотрю: деревянный домик с раскрытыми окнами, в стороне от дороги. Мне показался он в пять окон. Пошел к нему, и залаяла какая-то скверная собака, и так громко, скандально. “Еще напугаешь добрых людей”. Вернулся назад — и разобрала меня досада на собаку. “Может быть, совсем паршивая, а мешает моему трогательному чувству” (сознавал, что трогательное). Пошел опять вперед. Собака лает, но я все-таки вперед. Смотрю — домик не в пять, а в три окошечка, а в пять он показался мне (светящимися окнами) оттого, что увидал я его наискось, то есть в одну линию три передних окна и два боковых. И в переднее окно, раскрытое, я увидел, что стоит посреди комнаты и потягивается, должно быть, отец дьякон в подряснике; потягивается и собирается снять подрясник. Разобрать точно нельзя: копошится около себя “на сон грядущий”. “Вот еще, — думаю, — выглянет в окно и окрикнет”, ибо собака все лаяла. Какая-то глупая канава, и вообще местность неровная, неудобная. Да, именно так. Всегда любил я деревянные домики: все хорошее на Руси пошло от них. Деревянные домики строили Русь, а казенные дома разрушали Русь.

Ну, вот наконец и угол: хорошо я его обнял и поцеловал. Бревенчатый и необтесанный, то есть не крытый тесом: все точь-в-точь такое, что я люблю и считаю лучшим на Руси. И мои лучшие времена прошли в таких домах, одушевленные, творческие. В каменных домах я только разрушал и издевался.

Теперь собака уже тщетно лаяла. Я быстро пошел назад. Смотрю на сходнях фотографии-открытки (открытые письма) города. Между ними вдруг я увидал вид Свияги. Боже, да ведь Свияга-то для меня еще более дорога, чем Волга! Тут-то мы и купались, и буквально толклись все время на лодке. Свияга — маленькая речка, вся вьющаяся (постоянные извилины), без пароходов и плотов на ней, чисто “для удовольствия”. Она протекает, сколько теперь понимаю, позади Симбирска и параллельно Волге. Во всяком случае мы, гимназисты, все время проводили именно не на Волге, а на Свияге, отвечавшей величиною своею масштабу нашего ума и сил. Точно она для гимназистов сделана. Беклемишевы переплывали ее поперек. Тут превосходные были места для купанья. Но главное — катанье на лодке, тихое, поэтическое, которому ничто не мешает (то есть шумные и опасные пароходы). Вообще тут не происходило ничего торгового, и она вся была для удовольствия, “для гимназистов”… Она сильно заросла около берегов травами; полноводная и довольно глубокая. Местами — деревья, склонившиеся над нею!

С наслаждением купил ее фотографию. Ступил дальше по сходням. Смотрю: великолепный букет цветов у булочницы.

— Продай, тетенька.

— Не продам.

— Да мне надо, а тебе зачем? Я тридцать лет назад тут жил, и мне дорого, с родины.

— Самой нужно.

— А сколько вы дадите? — послышался сзади голос. Обернулся. Vis-a-vis с ларем парень, должно быть, возлюбленный булочницы. Не видно, чтобы муж. У мужей другая повадка.

— Двадцать пять копеек дам.

— Отдай, Матрена, — распорядился он.

Она передала мне букет. И розы, и все. Прекрасный. Я вошел с ними на пароход. И все дивился; как попал букет к булочнице?

— Да ведь завтра Троица, — сказали мне на пароходе. — Букет она приготовила себе, чтобы идти с ним в церковь, и оттого не продавала.

Так и вышло, что «возлюбленный» и надежда завтра «выпить» принесли мне цветы с родины.

На волжском пароходе мне встретилась молодая парочка. Он — светлый блондин хорошего роста, с открытым веселым лицом, она — темная брюнетка, молчаливая и несколько угрюмая. Я все примеривал мысленно, какую службу он занимает, и решил, что служит или в банке, или по министерству народного просвещения. Любопытство взяло верх над нерешительностью, и я спросил его.

— Рабинович. Учитель Р-ской гимназии, по математике и физике.

— Но ведь это еврейская фамилия? «Рабби», “Рабинович”?

— Я еврей. А вы и не узнали?

— Но у вас из русских русское лицо! И вся повадка, манеры, речь. И жена ваша еврейка? Эту-то видно, такая темная!

— Из русских русская. — Он назвал фамилию в девичестве. — И она учительница, преподавала новые языки в В-ской гимназии.

— Значит, вы православный? Браки с евреями запрещены.

— Я евангелического вероисповедания. Да вы, может быть, слышали: наш род старинный ученый еврейский род, но отец мой принял христианство, однако, не православное, а евангелическое. Он, впрочем, был и не лютеранин. Он принял только христианство в его общей форме, не церковной. И основал особую общину “Израиль Нового Завета”.

Я тотчас вспомнил статью Владимира Соловьева,[43 - См.: “Новозаветный Израиль” (Собрание сочинений. СПб. Издание товарищества

“Общественная польза”. В. г., т. IV).] написанную с большим энтузиазмом, об этом новом движении в еврействе, какое тогда только что произошло. Влад. Соловьев указывал, что “доктор Рабинович своею “общиною Новозаветного Израиля” дает радикальное разрешение еврейского вопроса, перекинув мост между племенами. и культурами, доселе непримиримо враждебными”. Он писал с энтузиазмом и о самой личности Рабиновича, высоко идеальной и чистой.

— Это о вашем отце писал Владимир Соловьев?

— Да. У отца моего хранилось много писем Владимира Сергеевича. По его смерти их взял, для разбора и издания, мой старший брат, занимающийся историк”. Без сомнения, в них много есть любопытного. В лютеранском крае, у нас, о моем отце и возбужденном им религиозном движении читают лекции, и оно вообще вошло в круг протестантского богословского изложения.

— Неудивительно. Но я не думаю, чтобы под этим лежала глубокая точка зрения. Ваш отец все-таки принял христианство если и не в протестантских формах, то в протестантском духе, и это не может не льстить пасторам, которые самолюбивы, как и все мы, грешные.

Из дальнейших расспросов открылась глубоко трогательная вещь. В самом начале 80-х годов сперва на юге России, а потом и в Москве прошло сильное движение против евреев. Совершились первые погромы с убийствами и разорением имущества, и страх этих погромов перенесся и в Москву. Я кончал там курс в университете и живо помню это время, когда евреи упрашивали христиан взять на временное сохранение драгоценные свои вещи. Именно тогда в нашей прессе прошел и впервые был поставлен вопрос о том, “что такое Израиль”, какова его историческая судьба, была ли она хоть где-нибудь положительна и плодотворна для коренного окружающего населения, и, словом, возник впервые теоретический «антисемитизм», как оправдание фактической ненависти и гонений. Еврейство заметалось. Невозможно представить себе ничего ужаснее, как то, что вот я, Борух такой-то, торговавший до сих пор папиросами и часами, оказываюсь обвиненным не за личные свои преступления, ненавидимым не за личные свои пороки или приносимый лично мною вред, а за то, что «когда-то» и «где-то» сделали люди, лично мне вовсе не ведомые, лично со мною никак не связанные, — люди, которые уже давно умерли и на которых я никак не мог повлиять, сколько бы ни желал этого! Есть родовой, фамильный аристократизм, и едва ли он симпатичен кому-нибудь: человек кичится “заслугами предков”, сам не имея никаких заслуг или даже будучи отрицательною величиною. Насколько же ужаснее родовое, историческое ненавидение, бросающее камень в голову не того, кто виновен, но кто “черен и курчав”, кто “еврей”, — хотя бы лично он был уже нам и дружелюбен и полезен. Вспомнишь вековечное предречение Исаии, где так удивительно и до подробностей точно описана грядущая судьба Израиля между другими окружающими народами: “Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, — и мы отвращали от него лицо свое; он был презираем, — и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего на нем, и раною его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, — и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца, веден он был на заклание и, как агнец, перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был изъят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут был от земли живых, за преступление народа моего потерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению; когда же душа его принесет жертву умилостивления, — он узрит потомство долговечное”.[44 - См.: Исаия. 53, 3-10. Розанов везде понизил заглавную букву Мессии, преследуя свою задачу. Текст приведен неточно.]

Знаменитое место это из 52-й главы пророка Исаии зачислено богословами в состав так называемых мессианских мест,[45 - Розанов полемизирует с писателем-богословом Г. К. Пластовым (1827–1899), издание которого “Толкование на книгу пророка Исаии” (СПб. 1896) находилось в его библиотеке.] будто бы предсказывающих крестную смерть Иисуса Христа, но откуда же толкователи взяли, что у Иисуса Христа было “потомство долговечное” (конец текста), что Он был “изведавший болезни” (начало текста) или что окружающие “отвращали от него лицо свое”? Все было обратное этому) Между тем как к еврейскому народу, никогда не умевшему защититься даже при избиении его, в средние века и до сих пор народно именуемому «порхатый», болезненному, не храброму, не воинственному, робкому, слабому и вместе давшему человечеству Библию, ну, и уж, конечно, имеющему “потомство долговечное”, и безродному международному скитальцу все это относится с разительною буквальностью! Даже “от уз и суда он был взят” (что совершенно не относится к Иисусу Христу, Который был “в узах” и “судим”), — как это очерчивает поразительную особенность евреев, что они почти не встречаются под судом и в темницах, «изъяты» от них. Но оставим в покое богословов, которые вечно тасуют какие-то чужие карты и вечно садятся за какую-то не свою игру.

В эту-то пору начавшегося нового гонения еврейскому националисту случилось быть в Иерусалиме. Затем я передаю почти буквально рассказ его сына: “С ним что-то произошло в храме Гроба Господня. Произошло чудо. Когда он стоял там, без молитвы, конечно, как еврей, и думал о народе своем — а о нем он постоянно думал, — его как будто что-то толкнуло и озарило. Озарила мысль, но точно пришедшая свыше. “Вот здесь, в этом самом месте, лежит ключ ко спасению Израиля, в Гробе Иисуса Христа. Израиль должен уверовать в Иисуса Христа, и как он уверует в Иисуса Христа, — он будет спасен, вражда и ненависть к нему прекратятся”. Эта мысль моего отца, точнее — потрясение его, волнение его, сделалась поворотным пунктом всей его жизни. Больше он ничего не делал и ни о чем не думал, как чтобы привести свой народ к Иисусу Христу. Он основал общину — Израиль Нового Завета. Он обратился к единоверцам с вопросом: почему в то время, как немец не непременно протестант, француз не непременно католик, славянин не непременно православный, но есть славяне и немцы католики, а из французов многие — протестанты, — одни евреи связывают свое племя с Ветхим заветом? Религия — одно, а племя — другое, и между ними нет тожества и никакой вечной связи”.

Я его перебил:

— Ну, знаете, точка зрения вашего отца не была весьма глубокомысленна. Правда, православие или католичество и лютеранство не связаны непременно с племенем, но ведь в христианстве и вообще ничто не связано с кровью и семенем. Религия духа… чего же вы хотите? “Не здесь и не на сем месте будут поклоняться Богу, но везде — в духе и истине”. Как только это сказал Христос, так для последователей Его и разорвалась связь между народом и религией, между племенным началом и религиозным. Христианские церкви суть исповедания, и для вступления в них так же мало надо быть русским или немцем, как и для выдержания экзамена по алгебре. Но Ветхий завет… вы понимаете, с чего он начался?

Он смотрел на меня с недоумением.

— Ветхий завет есть договор обоюдной верности, в который Бог вступил с Авраамом и потомством его через знак, положенный на самый орган воспроизведения этого потомства, — через обрезание. Тут никакого исповедания нет, это не алгебра и не Никейский символ веры, под которым можно подписаться, как под присяжным листом. Это совсем другое дело, и суть религии еврейской и заключается в племенности ее, в родовитости ее, в нисходящих потомках, которые поскольку рождаются, постольку уже состоят в Ветхом завете, со всеми добавлениями к нему, включительно до Талмуда. Поэтому для германца, например, стать католиком — не значит вовсе перестать быть германцем, отречься от духа германского и культуры германской. Но для еврея выйти из Ветхого завета и перейти в “религию духа” — значит как бы умереть и родиться во что-то новое. Иисус Христос так ведь и сказал еврею Никодиму: “нужно родиться вновь”.[46 - Ср.: “Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия” (Иоанн, 3, 3).] О «рождении» мы не станем распространяться, но я указываю, что отец ваш совершенно не понимал того, что для еврея выйти из Ветхого завета — значит умереть как еврею. И, значит, вопрос о «спасении» Израиля не был нисколько разрешен им: он предложил ему «спастись» ценою “перестать быть”. Неужели проповедь его имела успех? Уверен, нет. Простолюдье еврейское инстинктом знает, в чем суть дела.

— Нет, Община Нового Израиля составилась, но не была многолюдна. Может быть, рассуждение ваше и верно, но проповедь отца моего имела то благотворное и обширное действие, что евреи на юге России перестали дичиться христианства. И, например, таких случаев, какие бывали в старину, что евреи убивали того единоверца, который принимал христианство, что нередко случалось с еврейскими девушками в случаях любви к христианину и замужества с ним, — этих случаев более нет. Взгляды сделались терпимее, и браки евреев с христианами с переходом их в христианство- не редкость теперь на юге и не возбуждают той смертельной вражды, как прежде.

— Я очень стою за эти браки и от души радуюсь, видя вас женатым на русской, и, по-видимому, так счастливо. Но это мой русский интерес и русский взгляд. Я люблю русских, и мне не антипатичны евреи. Я думаю, между этими племенами, в отдельности очень несчастными, гонимыми извне и угнетенными у себя дома, есть какое-то сочувствие и тяготение, какого, например, явно нет между русскими и немцами, да даже между русскими и французами. В этом взаимном тяготении, взаимной симпатии, которая для меня очевидна, несмотря на погромы, мне мерещится многое исторически значительное. Я думаю, от смешения этих двух кровей произойдет гениальное… Но, как и всегда в супружестве, связь должна быть обоюдосторонняя: мы, русские, должны многое взять у евреев, например, их семейное целомудрие, верность, их половую чистоту, доведенную до щепетильности… Посмотрите наши нравы, семейные и вне семьи. Это что-то ужасное. Но не многие догадываются, что нравы эти проистекли не из расшатанности индивидуальной, личной, — напротив, личность расшаталась под действием совершенно нелепых, неумных и неуклюжих законов наших о браке. Все «запрещения», все заповедь: “не плодитесь”. Ее нет сил исполнить, она против природы, и загнанная в темный угол природа порвала все путы и, не имея нормы и закона для себя, а только голое отрицание себя, кинулась в буйство, безобразие, обезобразилась сама и обезобразила все вокруг себя. Вот вам маленький комментарий к общине новозаветного Израиля, какого не дал Соловьев и какой я даю со своей стороны, даю совершенно твердо. У вас есть братья или сестры?

— Два брата; один женат на русской и другой холост. И две сестры; одна замужем за шотландцем, другая так… не вышла ее судьба.

— Не вышла судьба?

— Она старая девушка.

— Вот уж и начинается… «Холост» один и “старая девушка” другая. В Ветхом завете этого-то и не было. Вы знаете правило и народно-религиозный обычай евреев: девушка, если она некрасива, болезненна, глупа или слабоумна, — все равно раввины ей приискивают соответствующего жениха, тоже неказистого, но который произведет с нею детей. В детях — все, и это-то и есть “Ветхий завет”, которого щепки не осталось у протестантов, у католиков, у нас, церковь которых не имеет никакого взгляда на детей, а на деторождение имеет взгляд, во всяком случае отрицательный. “Лучше не жениться”, и естественно, что брат ваш остался холостым человеком, а сестра не вышла замуж. Тут законы, но я думаю, тут и Бог. Будьте осторожны в своем личном браке: всеми мерами постарайтесь, чтобы у вас были дети, и много, и пристройте непременно всех их, и сыновей и дочерей. Оглядывайтесь на Ветхий завет, оглядывайтесь со страхом и смирением и не полагайтесь только на заветы вашего отца. Они великодушны, но не весьма далеко заглядывают вперед.

Но мне излишне было предсказывать: около несколько суровой и (мне показалось) холодной супруги-брюнетки этот белокурый и разговорчивый до болтливости еврей так и таял. С простодушием, какому я не знаю примера, он рассказал мне, как «роман» их сделался в две недели, как с первой случайной и непредвиденной встречи он не отходил от нее, и вот теперь везет ее, свое сокровище, показывать родным, куда-то на юг. Она все молчала, вставляя немногие слова. И хотя учила новым языкам, а он — математике и физике, но, однолетка с ним, она, видимо, была как-то умственно и духовно зрелее его, старше его. В нем же так взбродило супружеское «шампанское»: никогда я не видел, чтобы молодой муж до такой степени млел и весь был захвачен своим “новым счастьем”, был так восторжен к предмету своего обожания, мне вовсе не показавшемуся особенно красивым.

И вспомнил я великое ветхозаветное изречение: “того ради оставит отца и мать и прилепится к жене”… Не сказано подобного же слова о жене: о ней сказано, что муж будет «господином» ее и что она будет иметь к нему «влечение». Но я наблюдал, что в счастливейших случаях брака именно не жена “оставляет отца и мать”, — напротив, после замужества молодая женщина укрепляется, серьезнеет в своей связанности с родительским домом, особенно со своей матерью, а “оставляет отца и мать” муж, который после женитьбы совершенно охладевает к родительскому крову, как бы отрезывается и окончательно отделяется от своих родителей, особенно от отца, в равномерно привязывается к родителям жены своей. Молодой этот супруг-еврей не преднамеренно, но невольно исполнил все эти тонкие черты, вложенные в слово Божие о браке и брачующихся…

И подумал я еще: тот еврей, до такой степени поработившийся своей жене-русской, какая иллюстрация для опровержения вечной подозрительности всех христиан, что евреи день и ночь все только и думают о подчинении себе христиан, о вытеснении их из всех поприщ деятельности, о рабстве и эксплоатации их!.. Какая иллюстрация: совершается еврейский погром, — еврей вдруг находит, что народ его спасется, уверовав чистосердечно во Христа, и сам верует и основывает общину для перехода в христианство!.. Это среди погрома-то, при безмерной любви к своему народу как племени, как крови, как братьям. Мне кажется, другого примера такого великодушия, такого забвения обид не найдется еще в истории, чтобы в ответ на гонения вдруг слиться в братском объятии с гонителем. Мне не представляется шаг Рабиновича-отца гениальным, но в нравственном отношении это что-то единственное в истории!.. Совершенно

поймешь, видя этот и подобные шаги, предсказание, сказанное Богом еще Аврааму и потом повторенное всеми пророками: “о семени твоем благословятся все народы”, то есть что все они “процветут и расцветут, насколько потомство твое будет среди них”. В густой массе евреи как-то перетирают друг друга; они несносны по виду (неэстетичны) и точно начинают взаимно ломать судьбу один другого. Они именно должны жить в рассеянии, на что содержится указание именно в этих словах, что о семени их будут благословляться другие народы, среди которых, следовательно, они будут и должны жить. Какое предсказание при самом зарождении народа первому еврею! В этом рассеянии, как бы распыленные среди всех народов, они теряют свою компактную антипатичность и уже становятся красивым явлением на фоне сплошного другого племени, и посмотрите, везде они вносят труд, энергию, оживляют и связывают чужой труд своей предприимчивостью, изобретательностью, «посредничеством» (вечная их профессия) и ко всем народам относятся с ласковостью и готовностью к внешней ассимиляции (только не к общему деторождению), усваивая их костюм, быт, нравы. Как-то я рассматривал иллюстрацию “Бухарские евреи”. Оказывается, в Бухаре они одеваются по-мусульмански, а один еврей мне объяснил, что вне Европы они и многоженцы. Следовательно, полное слияние с мусульманами во всем, кроме общего деторождения. Это единственный пункт, где они не смешиваются, в строгое исполнение требования пророков, да и всего “Ветхого завета”, по которому вера их и верность Богу своему и заключается только в племенном, своем, единонаследственном размножении. Пыль эта, оживляющая все народы, она должна сохраниться в чистом виде, не для себя только, но и для интересов целого человечества, которое не перестанет никогда нуждаться в таком оживлении. Зачем соли растаивать — она все осоляет. Но горе, если плеснуть воду в самую солонку: тогда неоткуда будет взять соли, чтобы посолить пищу. Вот простой смысл несомненного (см. весь Ветхий завет) Божия слова, чтобы евреи не смели ни с кем смешиваться, ни с кем плодиться: смысл отнюдь не враждебный другим народам. Да и не нелепо ли предполагать, что Божие слово может быть во вред человечеству?! Это — те же карты, неловко стасованные богословами и в которые они убедили играть все европейское человечество…

Всюду евреи и входят к другим народам не только с ласкою и пользою (оживление), но и с истинным «влечением», вот как к мужу жена, как к жениху невеста. Этого мы не замечаем ни у одного народа: немцы, французы, наконец, живущие среди нас массами татары — все они живут среди нас, около нас, но отнюдь не с нами! Великая разница! Евреи же, приходя в Бухару или живя с русскими, с литвою, поляками, с арабами (в Испании), живут с ним и, с нами, слепляются, входят во все наши дела, в подробности их, входят везде с горячностью и энтузиазмом. Известный Шейн, собравший два тома русских народных песен со всеми вариантами — песен свадебных, похоронных, бытовых, — неужели еврей этот служил не нам, а евреям, желал “запустить жидовскую руку в песенное творчество русского народа”? Он так же желал “запустить руку”, как бедный Рабинович желал “запустить руку в христианство”, приняв Христа и призывая к этому соплеменников! Удивительное “запускание руки” в чужой карман, оставляющее в кармане этом больше, чем сколько в нем лежало! Г-на Венгерова я не могу назвать талантливым критиком или историком литературы, но воображать, что он не для русской литературы, а “на пользу евреев” трудится, собрав биографические сведения о множестве русских писателей (в своем “Критико-биографическом словаре”) и издав Белинского, — это до того глупо, что нельзя на это возражать. И множество подобных явлений. В евреях есть что-то женственное, немного бабье. Они нервны, крикливы, патетичны, впечатлительны. Они не имеют басов, а более нежные тембры голоса, начиная с тенора и выше, но не ниже, не переходя в октаву. Все это черты женской души, женского сложения, как и их испуг перед оружием, врожденная антипатия к войне, к лязгу оружия, к грубой и жестокой борьбе, если это не нервная потасовка. Вот именно в такую “нервную потасовку” они вступили, бессильно и страстно, с римлянами, осадившими их Иерусалим, да и все их борьбы, войны напоминают колоритом своим, бессильною яростью и минутами жестокостью “бабью свару”. Никогда это не было тяжеловесною, настоящею, грозною войною. Марса у них не было, а только тысяча Венер, тысяча вакханок, менад, разъяренных, пророчественных… Таковы их Юдифи, Деборы, Эсфири, то нежные, то мстящие. Да таково и все племя — к тому и я веду речь, — влюбчивое во всякую окружающую культуру, влюбчивое в племена Окружающие, около которых они не могут и не умеют жить только соседями, а непременно вступают с ними в интимность, “заводят шашни”, вступают в любовную связь, в подлинное супружество, только не плотски, а духовно, сердечно, образовательно и культурно! Вот их роль! Далекая от роли татарина, немца, который живет собою и для себя, который всем сосед и никому не родня, в Бухаре, в Африке или в России.

На пароходе вообще много едущих не за заботою, а для отдыха. Я все любовался двумя, очевидно, учительницами; в лицах их, манерах и всем поведении чувствовалось такое наслаждение этим отдыхом после тяжелого труда, что было приятно смотреть. Праздники — отдыхи; так сказано в Библии. И кто не знает труда, не знает и праздника в жизни своей, — лишение ужасающее! Эти учительницы постоянно выли вдвоем, и прочей публики для них точно не существовало. Примостившись где-нибудь поуютнее, они располагались со своим чаем или пили благоразумное молоко: затем которая-нибудь из них принималась за рукоделие, а другая читала ей вслух. Я прислушался; книжки были интеллигентные, идейные. И негромко они рассуждали между собою во время чтения. Так они учились, большим или малым учением, и во время отдыха. И всё было так умно и мило у них.

Озабоченная мамаша с пятью детьми, в возрасте между 12-ю и 5-ю годами, решительно не знала, что делать, и готова была каждую минуту расплакаться. Глаза ее выражали то молитву, то ужас, то раздражение; казалось, пароход разваливается, и ее милые детки сейчас погибнут. На самом Деле пароход хлопал колесами по воде и ничего не совершалось грозного. Но детки ее были похожи на птенчиков с отрастающими крыльями, которые начинают подниматься над гнездышком и вылетать из него на несколько аршин или сажен. Так как мамаша с самого рождения не выпускала их из-под глаз, то, естественно, она и не заметила этой медленной метаморфозы и уже привычным глазом, всеми привычками души ожидала и требовала, чтобы они никуда не отделялись от ее больного, слабого, полуразбитого тела. От этого проистекали вечные задор и раздор благочестивого гнезда. Оно наполняло шумом своим пароход. Пассажиры, и в том числе я, любовались на резвых девчоночек и одного мальчика, которые спешили с носа на корму и с кормы на нос, открывая то тут, то там новые прелестные зрелища:

— Белый пароход идет! Белый пароход идет! Огромный!

Все бросались смотреть на белый пароход. Мамаша надрывалась от страха, что пароходы столкнутся и все погибнут, а главное — погибнут ее милые дети. Но кто-то из них уже перебежал на другой борт и оттуда звал сестренок:

— Лодка подошла к самому пароходу! Сейчас она потонет! Под самыми колесами!

Пароход принимал нового пассажира, спускали трап; лодку, правда, страшно качало, но все обходилось без драмы и трагедии.

В чудном вечернем закате солнца пароход несколько притих. Чай кончился, и остающиеся час или полтора до сна все отдались любованию и безмолвию. Даже притихла и успокоилась заботливая мамаша, около которой сгруппировались ее дети, по-видимому, уставшие за день. Старшая из ее девочек, несколько отделавшись, сидела, поджав под себя ноги, и, вытягивая напряженно губки, что-то мечтала про себя. В руке у нее был клочок помятой бумаги.

Я подошел и заговорил с нею. Она подала мне клочок бумаги, который я выпросил у нее на память, — так мне это показалось любопытным. Всего 12-ти лет, только что перейдя из первого во второй класс гимназии, она с ужасными кляксами в чудовищными грамматическими ошибками переписала для себя стихотворение, которое теперь восторженно повторяла про себя, как бы молитву на сон грядущий или заветное письмо, полученное от подруги. На бумажке было написано:

На Дальнем Востоке заря загоралась.

Сегодня уснуть я всю ночь не могла.

То жизнь мне в венке из цветов улыбалась,

То терном колючим грозила и жгла.

О жизнь, не хочу я позорного счастья.

Твоих не прошу я обманчивых роз.

Хочу я свободы, свободы, свободы,

И знай, — не боюсь ни страданий, ни гроз.

Иди, я бороться с тобою готова,

Я жажду волнений, я жажду борьбы.

И пусть я паду за любовь, пусть паду я,

Не буду покорной рабыней судьбы.[47 - В просмотренных номерах “Русского богатства” за 1906–1907 годы обнаружить стихи не удалось.]

Я был ошеломлен. Не было сомнения, что девочка не имела никакого понятия о том, к чему относилось это стихотворение, ничего не знала другого, так сказать, из «репертуара» этих понятий, слов и особенно действий. Между тем она читала его явно богомольно.

— Нравится вам это стихотворение?

— Очень нравится!

— Что же вам в нем нравится?

— Что? — Она подумала и указала на некоторые строки; это были самые красивые и патетические строки. Девочка схватила в стихотворении, так сказать, общую ситуацию души человеческой, души молодой и именно девичьей, каковою была сама, и приняла все стихотворение как прямо обращенное к себе. Именно как письмо, к ней адресованное, но которое почтальон не донес, выронил на дороге, а она случайно гуляла и нашла его. Известно, что дети растут впереди своих лет, “выходят замуж” и «женятся» в 9, 10, 11 лет, “имеют детей” и носят их в виде кукол. Предварение будущего — вечный закон души человеческой. Девочка страшно горячо взяла душою выбор, выбор между счастьем и страданием, и в сторону последнего. “Позорное счастье”, “обманчивые розы” и, в противоположность им, что-то “грозящее и жгущее”, что она примет на себя в какой-то “неясной борьбе”, — это уже плакало в душе ее. Я видел это по глазам и губам. И, может быть, она заснет эту ночь, как и та 19-летняя девушка, к которой на самом деле письмо-стихотворение написано. Вот вы и подите, и исследите законы влияний души на душу, проследите те тропы и дорожки, по которым оно идет в стране, в народе, в обществе, в эпохе. Вспомнить из Иова вопрос Божий: “Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли рассчитать месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их?” (Глава 39-я, стихи 1–2). Неисследимое! Неисследима живая природа в ее диком устроении, а уж душа человеческая с ее «тайничками» и культура человеческая с нехоженными дорогами, впереди ее и по всей ее, неисследима стократно…

— Откуда же вы списали, милая девочка, это стихотворение?

— Из журнала. Папа получает много журналов. Кажется, из “Русского Богатства”.

И что такое “Русское Богатство” — она не знала. Короленко, Михайловский все terra incognita для малютки, почти малютки.

И подумал я: какой вздор самая мысль остановить уже раз начавшееся движение идей! «Останавливать» что-нибудь можно было до книгопечатания, до Гуттенберга, при рыцарях, закованных в латы, и вообще в том элементарном строе, когда «останавливающий» властелин или олигархия властелинов могли охватить глазом и руками комплекс явлений, подлежавших стискиванию вот эту маленькую жизнь германского феодального княжества или какого-нибудь епископского городка. Но теперь? Теперь все явления социальной жизни стали воздухообразны и решительно неуловимы для физического воздействия. Воздух, электричество, магнетизм — вот сравнения для умственной жизни. Она автономировалась, получила ту свободу, какой никто не давал ей, просто потому, что стала волшебно-переносимой, волшебно-подвижной, волшебно-неуловимой, неощутимой. “Лови руками холеру”, “хватай щипцами запах розы” — вот что можно ответить цензуре и властелинам, рассмеявшись на их попытки. И вообще уже все давно пошло свободно и свободно будет идти, повинуясь лишь своим автономным законам, умирая, “когда смерть пришла”, своя, внутренняя, от естественной дряхлости; а пока

“смерть не пришлая, то живи, несмотря на все палки и камни, которые неуемные люди швыряют в запах розы или холеру, кому как угодно и кто как назовет.

Свобода и автономия, автономия каждой точечки духовной жизни, — это уже такой факт, который никогда не исчезнет из истории человеческой! И как хорошо, наглядно объяснила мне это умная девочка. “Нельзя обнять необъятное”, — сказали мне умные глазки, вытянутый ротик и эти две ручонки, из которых одна держала куколку, а другая — революционное стихотворение. “Неужели и меня будут арестовывать? Но ведь я такая маленькая, и мне хочется умереть, как и Иисус Христос, с терниями и муками, а не жить в позорном счастье, в венке из роз, все кушая варенье и пирожное”… “Это только дети делают, а я большая, завтра буду большая, — и это завтра скажет мне, за что умереть”.

“Нельзя обнять необъятное” и “никто не знает, где рождаются дикие козы”…

Не сам я познакомился и разговорился, а моя спутница тоже с одною интересною для наших времен пассажиркою парохода. Она ехала одна. И ее замечательное лицо привлекло мою спутницу и заставило, как это возможно только в путешествиях, заговорить с нею на разные, сперва житейские, а затем внутренние и идейные, темы.

Купеческая дочь. Ушла или, точнее, отделилась, без вражды, но упрямо, от родителей и, “оставив отца и мать”, богатство и спокойствие, пошла по фабрикам и заводам Нижегородской губернии… с Евангелием!.. Да, я передаю читателю, как все слышал. Теперь она ехала вниз по Волге, ехала, еще не зная сама, куда и на что, негодующая, раздраженная и убитая; ее выгнали, осмеяли, презрели.

— Народ страшно озлоблен! Так озлоблен, так озлоблен… Что я ни делала, ни говорила о Христе, о мире, который Он принес на землю, о прощении обид и огорчений, о несении каждым креста своего — все было напрасно! Это только мучило людей и озлобляло их еще более. Глухая стена. Камень. А под ним страдание. Что делать? А между тем разве Христос — не истина? Разве Он принес на землю не истину? Но между этою Христовою истиною и теми людьми, среди которых я работала, легла какая-то непереступаемая пропасть. Что такое — я не понимаю, и никто не может объяснить этого.

Она была, таким образом, проповедницей Евангелия среди народных масс. Все знают, что девушки и женщины гораздо восприимчивее, нежели мужчины или юноши, к евангельскому слову; что по лицу варварской Европы первые женщины пронесли евангельскую весть: св. Клотильда — у франков, св. Берта — у англосаксов, св. Ольга — у русских, св. Нина — в Грузии…[48 - Розанов называет имена женщин, причисленных христианской церковью к лику святых за распространение новой веры: святая Берта (VI в.) — франкская принцесса, жена короля кентского (Англия) Этельберта; святая Клотильда (475–545) — жена франкского короля Хлодвига; святая Ольга (X в.) — жена князя Игоря; святая Нина (276–340) — грузинская просветительница.] И вот эта девушка, из купеческого звания, образованная и, словом, «интеллигентка», пошла в народ, в рабочую среду, в революцию, но не с темами о заработной плате и не с Карлом Марксом, а со словом, которое принесли варварам их первые святые и княжны! Не правда ли, удивительно? Уверен, что редкий этот случай не одиночен. Она говорила:

— Нужно вовсе не это. Я догадалась. Примирить народ может только великая жертва. Такая жертва, такая жертва, которая была бы больше его собственного страдания, которое очень тяжело. И когда она будет принесена — сердце этих людей раскроется.

Что она разумела под этим — было совершенно загадочно.

— Вы обо мне еще услышите…

И это было загадочно. Что услышать? О чем услышать? О подвиге? Может быть, о преступлении? Так все перепуталось в наше время. Была ли она христианка? Была ли она язычница, ибо только язычество знало натуральные жертвы, жертвы шкурой и кровью? Но она явно говорила о своем решении, о пожертвовании собою. И что значит: “Раскроешь сердце народное”? Судя по предыдущей проповеди Евангелия, как будто это должно было раскрыть народное сердце для Христова слова. Но она так явно была занята Россией и русскими, частнее — работающим людом, что, кажется, смысл ее клонился не к тому, чтобы втиснуть как-нибудь евангельское слово в душу народную, а скорее к тому, что нужно смягчить эту душу, погасить в ней злобу и мрачное отъединение, — и само Евангелие было для этого только испытанным орудием, попыткою неудачною и брошенною. Идея жертвы, как что-то огромное я новое, сильнейшее самого Евангелия, заняла бедный ум девушки, может быть, начавший помрачаться.

— Нужна жертва! Нужна жертва! Я знаю. Может быть, она умрет, работая около холерных. Так совпало. Она направлялась в низовья Волги всего за неделю перед тем, как голодный и измученный, одинокий в злобный люд начал, сверх всего, умирать от ужасной болезни, которая двигалась, как мрак, как ночь, без виновных, без суда и следствия. Может быть, она бросится в эту ночь, если чтобы не спасти, то чтобы утешить свое взволнованное сердце.

И кто запишет эти подвиги? Кто знает о них? Я услышал и точнейшим образом передал первые строки тихого подвига. А сколько их, сколько среди горькой и благородной русской земли! И клянусь, как ни бедна и истерзана и, наконец, унижена теперь наша Русь, — я не захотел бы ни за что быть сыном какой-нибудь другой земли, кроме нее. Я думаю, тысячи читателей, пробежав эти строки мои, скажут: “аминь”.

Мы подплывали к Саратову. Город этот теперь назначен быть университетским, но это случилось уже после того, как я побывал в нем. В самом деле, это столица нижней Волги. Едва мы сошли на берег, как впечатления именно столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, прекраснейшие здания, общая оживленность, роскошнейший городской сад, полный интеллигентного люда, — все это что-то несравнимо не только с другими приволжскими городами, но и с такими огромными средоточиями волжской жизни, как Нижний Новгород в Казань. Из всех русских городов, виденных мною, он мне всего более напомнил Ригу, но только это чисто русский город, «по-рижски» устроившийся. И в этой подобранности и величайших усилиях стать «европейским», кажется, большую роль сыграла богатые литературные и общественные традиции Саратова. Это — родина Чернышевского, Пыпина а вообще “движения шестидесятых годов”… Граф Д. А. Толстой, в бытность министром народного просвещения, был так раздражен упорством «нигилистической» традиции, упрямо сохраняемой саратовскою семинарией, что сделал распоряжение исключительное и потому, в сущности, беззаконное “в

административном порядке”: из одной только этой семинарии не допускать приема ни в какие высшие учебные заведения России! Почему он думал, что саратовские семинаристы меньше принесут вреда как нигилисты в положении священников, нежели в положении врачей в инженеров, — это Аллах ведает. Оглядываясь на «докритическую» эпоху нашей истории, тогда думаешь, что управляющий люд в ней состоял сплошь из каких-то седоволосых младенцев, даже и в тех случаях, когда они становились великими государственными мужами.

Ближайшею целью моею в Саратове было осмотреть Радищевский музей. О нем столько говорили и писали. В самом деле, Казанский университет, Карамзинская библиотека в Симбирске и Радищевский музей в Саратове суть выдающиеся точки культуры на Волге, хотя, к великому прискорбию, и не связанной ничем с Волгою в ее специальных особенностях. Когда-то кому-то придет на ум основать “волжский музей”, но кому придет эта мысль, тот сделает себе великое имя. За средствами дело не станет: на Волге живет столько богатеев и жертвователей, что дело тут не в рубле и не в мошне. Не зародилось самой мысли, не запал в душу никому самый энтузиазм. Между тем “волжский музей” явился бы интереснейшим в России по своим коллекциям, по своей библиотеке, по возможности сосредоточения в нем и около него, при его пособии в возбуждении, почти самостоятельной науки. География и геология Волги, ее интереснейшие этнография, история приволжских земель и, наконец, поистине неисчерпаемое разнообразие промыслов и вообще деятельности, связанной с Волгою, — все это необозримо. Наконец, этому отвечают приволжский дух, приволжский патриотизм, довольно (как я наблюдал в старые годы) значительный и гордый. Волжане любят свою реку, гордятся ею: с «Волги» они как-то начинают Россию, и где нет Волги, им кажется, что нет и России или что Россия там ненастоящая.

Радищевский музей мне понравился менее самого города. Правда, здание великолепно. Но это именно то, что мне дал город. Мне не понравилось то, что это есть гораздо более «Боголюбовский» музей, нежели «Радищевский» и что вообще к памяти великого русского страдальца, писателя-народника он не имеет никакого отношения, если не считать таковым «отношением» портрета Радищева и его краткой биографии, отпечатанной на листочке, и повешенных перед входом в залы музея, наряду с портретом и тоже биографией и патентом на орден Станислава 2-й степени знаменитого Боголюбова, кажется, всю жизнь прожившего в Париже и там писавшего посредственные картины, представлявшие “подвиги русского флота”… О всем этом прописано в патенте на ношение Станислава 2-й степени, каковой орден ему был исходатайствован генерал-адмиралом нашего флота Великим Князем Алексеем Александровичем: “за изображение подвигов нашего доблестного флота”. А самый патент почему-то тоже пожертвован Боголюбовым музею как историческое свидетельство, что художественные заслуги его ценились высокопоставленными особами, и вставлен музеем в рамку и под стекло, или, может быть, уже у самого награжденного станиславоносца он сохранялся под стеклом и в рамке. Боголюбов сделал, собственно, под предлогом «Радищевский» музей для сохранения и постоянной выставки своих собственных картин, которые без этого музея едва ли были бы сохранены и, во всяком случае, затерялись бы и не получили “взоров публики” по совершенной неинтересности своих сюжетов и посредственности техники. “Неинтересно! Серо! Скучно!” — с этими словами отворачиваешься от огромной залы, от пола до потолка увешанной произведениями парижско-русского маэстро, не неопытного в делах житейских.

Все это очень печально: и музей имел бы совершенно другой смысл, и даже сам Боголюбов неизмеримо вырос бы в глазах истории и общества, если бы, дав музей Саратову и сосредоточив в нем все реликвии, оставшиеся от Радищева, сосредоточив довольно большую литературу о нем, сам стал незаметною фигурою в стороне, если и дав для музея свои картины, то не более как в числе 2-3-х, и всего лучше ни одной, и убрав свои патенты, биографии и портреты. Но он этого не сделал. Радищева нигде не видно. Нет даже его “Путешествия от Петербурга до Москвы”, теперь уже изданного, да напечатанного и ранее А. С. Суворинымкажется, в 2-3-х экземплярах! Для музея имени и памяти Радищева, во всяком случае, было бы возможно раздобыться этою библиографическою редкостью! Наконец, в музее памяти Радищева должна бы быть собрана литература его времени, все эти «истории» и «записки» князя Михаила Щербатова, труды князя Долгорукова, Плавильщикова, Озерова, Княжнина, начинающего Карамзина, и, словом, книжность и словесность, поэтическая и публицистическая, царствование Екатерины II. “Век Екатерины II” в книжных сокровищах и портретах — как это было бы интересно! Но здесь ни зги нет из века Екатерины II, нет даже портрета Новикова, сострадальца Радищева! Ничего! Это скучно и бездарно!

В музее, однако, собрано много величайших ценностей из пожертвований корифеев русской литературы 60-х годов или из пожертвований их родственников после их смерти. Тут находятся многие вещи Тургенева и Некрасова, из обстановки их жизни и орудий труда. Есть портреты этих корифеев и замечательных общественных и государственных деятелей их времени. Но именно их времени, как обстановка великого Боголюбова, а не времени Радищева, как обстановка его жизни и личности! Все это ужасно неумно! Музей сам по себе прекрасен, нужен и вполне заслуживал бы подробного описания с фотографическим воспроизведением замечательных вещей, которых в нем много, но ко всему примазавшийся и во все вмазавшийся Боголюбов решительно его испортил. Город, конечно, сам от себя мог бы украсить свой музей, ибо это есть саратовский музей, а отнюдь не «Боголюбовский», по огромной материальной ценности, вложенной сюда городом в виде прекрасного здания, — портретами великих общественных и государственных деятелей России, но отнюдь не специально “современников Боголюбова”, а вообще памятных и дорогих для России! Все те же портреты, которые украшают теперь музей, шли бы сюда, но дополненные другими портретами, от Новикова до Некрасова и от Никиты Панина и Мих. Щербатова до Татаринова и Зарудного; они получили бы совсем другое значение, а не это смешное — “осветить эпоху знаменитого Боголюбова”, к тому же жившего в Париже.

Все это неудачно, и мы уверены, ранее или позднее Саратов догадается это исправить. Пусть музей сохранит имя «Радищевского», но пусть он освободится от навязчивого живописца, и, например, взамен его «реликвий» отчего бы не собрать сюда все, что шло в истории и литературе нашей параллельно с Радищевым и последовательно за ним! Это был бы действительно музей памяти Радищева! И каким мог бы стать этот музей, если бы это сделать хранилищем всего словесного, живописного, музыкального и проч., и проч. движения в России, направленного к ее освобождению!

Меня заняло в этом музее чтение длинного письма Гоголя, написанного незадолго до смерти. Несколько листочков, его составляющих, — старых пожелтевших листочков! — помещены между стеклами, так что обе стороны каждого листка читаются с удобством; а все стекла, вделанные в деревянные тоненькие рамки, соединены между собою на шалнерах. Пример удобного и вместе вечного сохранения. Письмо писано к отцу Матвею, известному ржевскому протоиерею, имевшему подавляющее влияние на несчастного и больного писателя. Этого Мефистофеля Гоголя следовало бы поместить где-нибудь на его памятнике в Москве — в уголку, медальоном или фигурою, но вообще поместить. Без него так же не полон Гоголь, как всякий франкфуртский чернокнижник без черного пуделя,

преобразующегося в красного дьявола. Известно, что о. Матвей все пугал Гоголя адским огнем и требовал от него не только прекращения литературной деятельности и отречения от великих написанных произведений, которым сам о. Матвей предпочитал проповеди местного своего архиерея, но требовал также и отречения от чисто человеческой привязанности к памяти благородного Пушкина. “Все ничто в сравнении с вечностью и с соленым огурцом”, — шутят гимназисты; но о. Матвей без всякой шутки уверял Гоголя, что “все ничто в сравнении с мудростью консисторских решений и с икотой матушки его, попадьи Смарагды”, или как ее там звали. И “Мертвые души” и «Ревизор», и “Медный всадник” и «Цыганы» — только «грех». Можно думать, что “Выбранные места из переписки с друзьями” были опубликованы Гоголем в угоду этому своему наставнику-духовнику. Но, как это часто бывает с самонадеянными семинаристами, о. Матвей не одобрил и самой покорности своей воле, выразившейся все-таки через литературные формы, недоступные и чуждые протоиерею, буквально не читавшему ничего, кроме консисторских указов (консистории изъявляют свою волю “указами”), и не слыхавшему ничего, кроме икоты своей матушки. Он очевидно выбранил Гоголя и за «Переписку», найдя и в ней если не «соблазн» и «грех», чего решительно там нельзя было отыскать и чего не было, то все-таки найдя вредным тот шум и пересуды, вообще литературное и общественное волнение, какое возбудила «Переписка». Гоголь возбудил его “суету сует и всяческую суету”, чего не одобряет Экклезиаст.

В письме, сохраняемом в Радищевском музее, великий писатель оправдывается перед о. Матвеем в опубликовании ее. Весь тон письма униженный, деланный и лживый; глубоко несчастный, и еще более нравственно несчастный, нежели умственно несчастный, Гоголь был странно сложен. Болея, умирая, он оставался несколькими головами выше своего советчика-духовника и инквизитора. Но это была уже рушащаяся башня, подкошенное болезнью и какими-то нравственными страданиями величие. Оно падало, и падало к ногам коротенького чугунного столбика, где-то терявшегося около его подножия. О. Матвей брал именно короткостью своего существа, где по самым размерам не могло уместиться ничего сложного. Он был прост, ясен и убежден. Он был целен. Всем этим он был неизмеримо сильнее Гоголя, как Санчо-Пансо сильнее Дон-Кихота, и какой-нибудь лакей сильнее Гамлета, знающего столько сомнений. “Вера двигает горы”, и о. Матвей своей упорною «верою», стоявшею на фундаменте неведения и равнодушия, житейского индифферентизма и умственной узости, не только сдвинул гору-Гоголя, но в заставил ее шататься и, наконец, пасть к ногам своим с громом, который раздался на всю литературу и был слышен несколько десятилетий.

Печальная и страшная история. Бог с нею. Так около гения наших дней в подобной же роли Мефистофеля стоит упорный узколобый его «друг» из Лондона, который, издавая за границею его морально-религиозные творения, в своем роде продолжение “Выбранные места из переписки с друзьями”, фанатично убеждает его, что около этого “соленого огурца” ничто и «Вечность», и Шекспир, и “Анна Каренина”…[49 - Розанов имеет в виду Владимира Григорьевича Черткова (1854–1936) публициста, издателя, близкого друга Л. Н. Толстого. Крайне отрицательно настроенный к толстовству, Розанов обвинял Черткова в его пропаганде (см.: В. Розанов, “Друг великого человека” — “Новое время”, 5 июня 1911 года).]

Мариэтта Чудакова. Плывущий корабль

Это неторопливое повествование о великой реке, родящей “из себя какое-то неизмеримое хозяйство, в котором есть приложение к полуслепому 80-летнему старику, чинящему невод…”, спустя восемьдесят лет не только радует читателя, но и удручает его, чего автор не мог предположить.

Перед нами — будто не быль, а сказка о золотой рыбке, о том, как старик ловил неводом рыбу, а старуха пряла свою пряжу.

Пушкинские старик со старухой, жившие у синего моря, оказались счастливей их потомков, живущих сегодня по берегам Волги: ведь в сказке, как помнит каждый, “глядь — опять перед ним землянка”. Та самая, его! У него ничего не отняли: ни землянки, ни его собственного разбитого корыта, ни той прибрежной полосы, на которой ему или отцу и деду его вздумалось когда-то основать свое жилье. Вот этого-то сравнения и не выдерживают нервы сегодняшнего читателя прекрасного розановского повествования о “русском Ниле”.

“…А она, матушка, все стоит” (течет…). Нет, это уже не про нас — про другую какую-то сказочную страну, про другую Волгу…

…Двадцать лет назад, то есть через шестьдесят лет после описанного Розановым путешествия, мне удалось осуществить давнее желание подняться от Астрахани до Москвы — увидеть наконец главную реку средней России. На ее берегах росла моя мать, потом воевал отец; силою вещей Волга оказалась — в начале войны — и среди моих собственных самых ранних жизненных впечатлений, тех, что остаются в составе начальной памяти. И вот, спустившись прежде по Ахтубе на байдарке, в Астрахани села на пароход “Николай Некрасов”. Побаиваясь все же скуки непривычного бездействия, купила в Астрахани в букинистическом потрепанный том “Братьев Карамазовых”. Но в первые же часы возникло то самое состояние, которое с крайней точностью описано Розановым: смывание накопившейся у столичного жителя усталости от насильственных пассивных впечатлений новизной «влажных» звуков, иных впечатлений. “Мерных ударов колес по воде”, само собой, уже не было, но как быстро стало ясно, что будешь и будешь сидеть на палубе и без всякой скуки смотреть на бесшумно движущееся навстречу носу парохода спокойно-мощное течение реки, на слепящие блики. Читать не хотелось! Поверх книги часами смотрелось на эту живую воду, которая, по слову Розанова, “точно не движется, а только “дышит””… Медленно менялись слева и справа берега от века неизменной реки, виденные тысячу лет до нас иными, давно погасшими глазами, — все те же, казалось, берега. Где-то вблизи Куйбышева все, однако, переменилось.

Берега пропали. Мы плыли уже не по реке, а по странной бескрайней не морской, не речной глади, над которой клубился туман, и пароходы среди бела дня переговаривались гудками.

Конечно, я знала про плотины и водохранилища. Но такого резкого впечатления почему-то не ждала. Хорошо помню, что возникшее при этом чувство не исчерпывалось горечью, в гораздо большей степени это был бессильный гнев как всем известно, одна из самых изнуряющих эмоций.

Мы плыли по отнятой у большого народа реке, и невозможно было отрешиться от мучительного сознания, что никто и никогда не сможет уже взглянуть на проплывающие мимо, но, однако, невидимые берега глазами тех, кто взирал на них шестьдесят, сто, двести и триста лет назад. Отделаться от этого чувства не удавалось — отнято было слишком многое, и как-то бесстыдно, неперсонифицированно. В ушах звучала детская дразнилка: “Обманули дурака на четыре кулака!”

Второе сокрушающее впечатление поджидало в Волгограде. (Вот клеймо, оставленное эпохой, — название этого города! Что хочешь, то и делай теперь Сталинградом обратно не назовешь. Царицыном еще глупее! Мы несем наказание безвыходности. Так и будет Сталинградская битва происходить в несуществующем городе.) Пароход там стоял пять часов, можно было распорядиться временем. Мой отец, пехотинец московского ополчения, не писал нам из-под Сталинграда год. Уже вернувшись после войны, он объяснял, что хотел приучить семью к мысли о своей гибели заранее, — сомнений в том, что он погибнет не сегодня, так завтра, у него не было: вокруг ежечасно гибли однополчане, и его мучило, что письма их еще идут.

И вот я увидела это, и, как написали бы ранее, свет померк в моих очах. Я настаиваю на том, что статуя, высящаяся над пропитанной кровью приволжской степью, во-первых, не может быть передана никакими фотовоспроизведениями, а во-вторых, не имеет отношения к нашим земным масштабам и треволнениям. С первой секунды становится ясно, что она сработана никак не руками землян, а опущена на нашу землю при помощи тросов с какого-то космического инопланетного снаряда. Водруженная, или, скорее, нахлобученная, на курган, она господствует над огромным пространством и лишает тех, кто идет к кургану, возможности сосредоточения. Подавляя естественные приличествующие случаю чувства, вместо них она навязывает появляющимся в радиусе ее действия людям одно идиотически-возбужденное изумление перед масштабом содеянного: ишь ты! вот это да! Не знаю, может, за прошедшие годы люди к ней приобыкли — тем печальней. Чистая величина, но, однако, почти физически угнетающая. Неужели и это непоправимо? В тот год мне думалось, что — нет, что вернуть здесь земле, которая сама себе служила памятником, прежний облик возможно.

Три года спустя, в 1970 году, в первые дни мая мы плыли на байдарке в дельте Волги — незадолго до холеры и многолетнего карантина. Видели издалека розовых фламинго — бессмысленно браться их описывать не поэту. Ночевали на палубе катера. И как только легли сумерки, зазвучало все — вода и воздух. Вся дельта, куда хватало глаз и слуха, жила. Кипела. Все курлыкало, квакало, звенело. Посвистывало. Мощно, как согласное взмывание огромного оркестра, объявляло о себе воспроизведение жизни на земле. Что-то там сейчас? И что будет?

…На том именно пароходе “Юрий Суздальский”, на котором спускался по Волге в 1907 году Розанов, несколькими годами позже все мечтала покататься кинешемская девочка Клавдия Махова. То, что Розанов назвал «бульварчиками», сегодня ей — моей матери — помнится как красивый бульвар. Все горожане знали, что именно на этом бульваре снимали в Кинешме «Бесприданницу». Убийство героини из ревности после ее веселого катания на пароходе по Волге с богатым купцом происходило тут же, у дверей ресторанчика. “Впритирку с бульваром церковь. Рядом с ней — церковный дом, женская богадельня… Выло еще прекрасное старообрядческое кладбище. Темные памятники. Много ягод… Там так хорошо было играть в прятки! Стоял дом, туда привозили тяжелобольных. Кладбище и дом выстроил на свои деньги купец-старообрядец, он и сам тут где-то рядом жил”.

Тот же самый розовый «самолет» (только так и называли) ходил по Волге и в начале 20-х, был все так же шикарен, каким он описан Розановым, и шестнадцатилетняя барышня решила осуществить детскую мечту — не проехаться, так хоть пройтись по палубе. Гуляя вечером близ Волги со своими детдомовцами (она была воспитательницей), увидела стоящий у пристани пароход — и, наказав детям дожидаться ее, быстро поднялась по трапу и взошла на палубу. И тут же пароход дал гудок, отчалил и стал разворачиваться на Нижний. Она кричала:

“Остановите, у меня дети!”; потом кричала с палубы детям: “Идите домой и ложитесь спать! Я вернусь ночью!” А дальше все происходило как в кинематографе тех лет: красавец адвокат, известный кинешемский сердцеед, купил ей билет (у нее не было ни копейки), уступил свою каюту, помог сойти на ближайшей стоянке, дал денег на обратный билет, поручил ее заботам пожилой дамы. Оказавшейся на ночной пристани, — барышня дождалась обратного уже обычного, неказистого пароходика и вернулась в свой детский дом к завтраку, причем заведующий встретил ее словами: “Как это ты, Клавдя, вчера ребят приструнила — их и слышно не было!” (Дети, потрясенные событием, притихли на всю ночь.)

Спустя двадцать лет, в сентябре 1941 года, высокий черный борт огромного парохода, нависающий над прыгающей на воде шлюпкой, — одно из первых моих собственных воспоминаний. Все происходит у того же кинешемского причала. Сильные волны (как потом поясняли взрослые — “от винта”), крики женщин, прижимающих к себе детей, и мужчинам, изо всех сил навалившимся на весла, удается выгрести: я слышу: “Ну, слава Богу”. Мы плывем, эвакуированные из Москвы. Дыхание Волги входит в самый ранний пласт сознания, а в словарный запас — «смычка» (паром, соединяющий левый и правый берег). Изба с русской печью, впервые увиденной. Полати, где спят мои старшие братья, — тоже впервые. Ночью старшие дежурят, чтобы крысы не залезли в колыбель к новорожденной родившейся в Кинешме нашей младшей сестре.

В 1907 году Розанов описывал соседствующие с русскими на Волге народы. “…Из десятков и сотен миллионов… нет из ихнего народа ни одного пьяницы!” — тут слышится, узнается будущая солженицынская интонация: “Вот, говорят, нация ничего не означает, в каждой, мол. Нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось”; близко к первоисточнику, кажется, и само движение мысли.

Что же до “ихнего народа”, до “Магометова племени”, то отсутствие в нем не только пьяниц, но пьющих продержится какое-то время и после революции. Отец мой, уроженец Дагестана, учившийся в дербентской гимназии, а в 1922 году приехавший юношей в Москву, в Тимирязевскую академию, только годом-двумя спустя решился попробовать вина, хотя правоверным мусульманином не был с первого же революционного года. Когда же спустя полвека я поехала посмотреть на его родной аул в Южном Дагестане — в каждом доме на стол ставили водку и только водку и не могли никак примириться с равнодушием к ней моего русского спутника.

На Волге же дела подвигались и того быстрее. Бензолка- поселок и завод (на нем мой дед с материнской стороны в первые десятилетия века работал механиком-дизелистом) — превратилась в город Заволжск (на левом берегу Волги, против Кинешмы) и Анилзавод — главный поглотитель окрестной рабочей силы, не только мужской, но и женской. Женщины таскали (что делают и до сей поры) на спине по два и три пуда химикатов, получая за это молоко, но предпочитая ему водку. Пили и в царское время, но дальше пьянство росло неудержимо, в него все активней втягивались вслед за мужьями женщины, и в 50-е в городе, по уверению местных, непьющих уже не было. Одному из тех, кого подбирали из канав пьяным именно мертвецки, зашили под кожу то, что положено, но среди заволжского люда бытовало мнение, что “ничего не будет”. И жена (!) целый вечер пила с мужем на пару, а потом спокойно отправилась на переправу —

ехать к взрослым детям в Нижний Тагил. В Кинешме на вокзале к ней подбежали перед поездом с сообщением, что муж ее только что умер в больнице, и она вернулась, чтобы его хоронить. “Его только на операционный стол успели положить, — рассказывала она эпически. Разрезали, а у него уже весь желудок съежился и почернел”. “Да как же ты с ним пила?” — “Да все пили вшитые! Ничего такого не было — вызовут «скорую», и ничего!”

В Заволжске и Кинешме молодые замужние женщины сообщают свои анамнезы, способные потрясти воображение жительниц Москвы: “Я тридцать два аборта сделала, а Наташка — сорок”. И год за годом по нескольку раз в год приезжают с Ярославского вокзала в Москву — за колбасой и одеждой. Так ездила до семидесяти восьми лет моя тетя, родная сестра мамы, и с мешками за спиной уезжала обратно к детям и внукам. И все звала: “Приезжай к нам! Уж как же у нас хорошо! Волга!”

И когда в 1985 году я поехала к ней в больницу — только уже не в товарном вагоне, как летом 1941-го, а на верхней боковой полке плацкартного, — увидела, спускаясь к причалу, ту самую церковь с колокольней, которую описывает Розанов (она устояла все эти годы и действует), а потом стала переправляться — и открывшийся волжский простор, упруго бьющий в грудь речной ветер перехватили дыхание. И тогда мне сделалось ясно, как легко становилось хрупкой, замученной жизнью и вечной пьянкой, творившейся вокруг нее, презиравшей водку старой женщине, как только ступала она после поезда со своими мешками и сумками на подвижную палубу и оглядывала великую реку, залитую встающим солнцем.

Розановский пароход, плывущий по стране, которая, как поют современные рокеры, когда-то была моей, по реке, “ровное, сильное, не нервное” дыхание которой «успокаивает» автора повествования, конечно, неизбежно вызовет в памяти у современного читателя фильм Феллини о плывущем по разлому двух веков корабле, о том, как океанской волной начавшегося мирового катаклизма смывает целую культуру. Но корабль Розанова плывет еще за семь лет до мировой войны, за десять лет до февральской революции и всего дальнейшего. Предвидел ли автор почти идиллического повествования это дальнейшее? Ведь он уже видел происходившее год-два назад. Не отсюда ли и идиллия — как бы опережающая ностальгия по обреченному миру?

Розанов, во всяком случае, дает огромную пищу для размышлений о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем нашем дне. Он неустанно исследует феномен русской жизни, углубляется, въедается в него. Осматривает и так и эдак и будто демонстрирует то, с чем неизбежно столкнутся будущие преобразователи, не столько не знающие, сколько игнорирующие историко-психологическую толщу российской жизни.

Да уже одно только описание оконного крючочка — какой он у нас есть и каким должен быть по европейским кондициям — уже это непоправимо наше, нашенское. Эти “маленькие хитрости”- одно из вернейших, глубочайших отражений нашей жизни в печати последних десятилетий. Если бы журнал “Наука и жизнь” издавался уже тогда, наверное, какой-нибудь умелец пассажир непременно прислал в редакцию описание легкого в домашнем изготовлении приспособления для открывания низко посаженного крючка. “Маленькие хитрости”, зощенковские “удивительные идеи” и “счастливые проекты”. Приноровление к данности неверно посаженного крючка — нашего поистине недвижимого и пожизненного имущества.

“Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение”. Десятый год директорствующий неизвестно по какому праву над крупнейшей библиотекой страны не слышал ведь этих слов директора гимназии. Но через сто лет после него (в начале 80-х) он скажет на ученом совете библиотеки те же слова, всем запомнившиеся именно своей классичностью: “Мне гении не нужны. Мне нужны дураки, но нравственно чистые”. Розанов нащупывал то именно, что самовоспроизводится на российской почве, “что-то сущее и от начала веков бывшее”, но то, чему, возглашает он, призывая свою детскую гимназическую веру, “настанет конец, настанет! Настанет!”.

Со знанием и умением пишет он о “нашей русской молодой бескультурности”, по которой в библиотеке парохода, плывущего по Волге, нет ни одной книги, относящейся до Волги (“…до того неумно, что даже растериваешься”), нет ни путеводителя, ни карт, ничего. И сделано это не по злой воле, а, по мысли Розанова, “молодой недогадливостью” юноши или гимназистки. Это незнание, с какого конца взяться за дело.

Неутомимо исследует Розанов тайну русского национального характера, его высоты и бездны. В этом помогает ему то понимание людей, которое во все времена бывает уделом лишь немногих — и не может быть иным, потому что в тиражировании вольных суждений о душе ближнего своего есть определенная опасность. После смерти своего знакомого, сотрудника “Нового времени”, редактора-издателя журналов “Русское дело” и “Русский труд” С. Ф. Шарапова (он считался «правым», и весьма, но некролог его в “Русской мысли” написал кадет П. Б. Струве), Розанов пишет в «Уединенном», что “он был не умен и не образован, точнее — не развит: но изумительно талантлив. ‹…› Он безусловно был честный человек”. И дальше — главное, важное не для нашего понимания мало кому сегодня ведомого Шарапова, а для размышления о Розанове и нашей национально-общественной жизни: “…Было что-то в нем неуловимое, в силу чего, даже взяв его за руку с вытащенным у меня носовым платком, я пожал бы ему руку и сказал бы: “Сережа, это что-то случайное: ведь я знал и знаю сейчас, что ты один из честнейших людей в России”. И он расплакался бы слезами ангела, которыми вот никогда не заплачет «честный» Кутлер, сидящий на 6-титысячной пенсии” (“Уединенное”).

Над этим, уверена, многие читатели остановятся — и с разными мыслями.

Эти поиски существенного в человеке, самой его сути, не зависимой ни от степени таланта, ни даже от определенных поступков, были близки и понятны, видимо, еще одному русскому писателю нашего века — М. А. Булгакову. Его сосед по дому в б. Нащокинском драматург Алексей Михайлович Файко рассказал незадолго до смерти о придуманной Булгаковым “игре в отметки”- когда какого-либо кандидата оценивали, как запомнились мемуаристу пояснения Булгакова, “за весь комплекс присущей ему личности. Дело не только в интеллекте, чуткости, такте, обаянии и не только в таланте, образованности, культуре”. Он призывал участвующих в игре оценить “человека как человека, даже если он грешен, несимпатичен, озлоблен или заносчив. Нужно искать сердцевину, самое глубокое средоточие человеческого в этом человеке, и вот именно за эту совокупность ставить балл”. Не тот же ли это взгляд — поверх «платков»? “Когда наши мнения сходились и некий Икс, мало чем известный, тихий, скромный человек единодушно получал высшую оценку, Булгаков ликовал. “За что? — спрашивал он с сатанинским смехом. — За что мы ему поставили круглую пятерку все без исключения?” Он чуть не плакал от восторга, умиления и невозможности понять непонятное”.

Слезы восторга и умиления здесь розановские, хотя и перешибаемые булгаковским сатанинским смехом.

…Честные по душе своей люди, попадая на должности, оставаясь при этом, возможно, все столь же душевно честными, делают глупости и даже гадости по слабодушию и «неразвитости», и о вреде, нанесенном этими сугубо национальными качествами России в XX веке, можно исписать томы. Русский человек не потерял и до сей поры особой чувствительности к той не поддающейся вычислениям честности, которую умели почувствовать в человеке и Розанов и М. Булгаков. Сегодня эта национальная чувствительность обострилась. Чтобы заговорить о двоякой ее роли, нужно иметь бесстрашие Розанова, но все же попробую. Про тех, кто вызвался сегодня действовать и действует, стараясь послужить тому, чтобы мы достигли хоть какого-то приличествующего людям существования, только и слышно: этот прохвост, тот жулик, а тот краснобай, — а что делал другой в годы застоя, на чем заработал свою степень доктора экономических наук?.. Здесь если только начать — не кончить, здесь есть место, где разгуляться. Не говорю уж о том, что мы все выбираем и выбираем между Обломовым и Штольцем, и конечно же, в пользу Обломова — и впрямь честнейшего человека, да к тому же еще в отличие от Шарапова вполне развитого, образованного, — и куда заводит нас этот вечный выбор? Куда двинет нас вечное чтение в сердцах, которому такую безоглядную повадку дал Розанов? Другое хуже — эта розановская безграничность, не обеспеченная его единственным в своем роде сочетанием свойств. Почему слова Розанова так естественно ложатся на слух, почему они не раздражительны, как бы ни был раздражителен порою их прямой смысл? Не потому ли, что сам он не огражден от собственного всепроникающего взора? “Да, этот человек ни разу не прикинулся добродетельным, — пишет в своем маленьком опусе о Розанове Венедикт Ерофеев, — между тем как прикидывались все”.

Отличка Розанова и в абсолютной непрактичности, нерасчетливости его склада ума.

Дело еще, если позволительна тавтология, и в отсутствии деланности. Однако ценность этого — в прямой зависимости от того, на фоне какой культурной ситуации и в каком персонально-словесном контексте это проявляется. На плоском фоне оно оказывается не больше чем разболтанностью — мысли, слова, поведения, и если мы услышим на улице “плевать я на вас хотел” или где-нибудь в застолье “давить их всех надо”, говорящий не восхитит нас — при всем отсутствии деланности.

Будто забыв всякую мысль о границах произносимого слова, о возможных общественных и личных последствиях сказанного, Розанов задавал в своих статьях немыслимые, неудобопроизносимые вопросы, врезаясь в культуру, — и тогдашнее состояние русского общества выдерживало это: культурная почва держала.

Его лыко всегда попадет в строку тем, кто все ищет «доподлинное» и, конечно, «тайное» знание — о нации, об истории, о судьбе народа. Оно пригождается и всем, кто руку набил на фокусническом извлечении цитат для многолетних цитатных споров. Но жаль будет, если от привычной игры в чехарду с цитатами из деятелей революции мы плавно перейдем к игре с цитатами из религиозных мыслителей. И Розанов — с его высказываниями на самые разные вкусы, скрепленными лишь его личностью, — может быть, лучшее средство для общественного отвыкания от такой игры и замены ее собственной духовной работой.

Но был он все-таки не мыслитель, а писатель, хотя нигде, наверное, как в его отечестве, не склонны так пренебрегать в рассуждениях писательством словно каким-то привеском. Для кого уж не было это необязательным дополняющим, так для него. Вся жизнь пошла на борьбу с «Гуттенбергом», с литературой, как бы составленной из печатных литер. Он поставил перед собой немыслимую задачу писать “для себя” и для себя писанное — печатать. Сохранить эту обращенность к себе он и пытался — в печати. Ремизов, М. Гершензон шли уже в какой-то степени за ним (хотя это было и в самом воздухе эпохи), публикуя письма тех, кого Ремизов назвал «серединой»: “…серое поле русской жизни, на которой разыгрывалась история, происходили великие отечественные события”, — и призывал хранить эти давние письма, “пустые и не пустые ‹…› до последнего обрывышка” (“Россия в письмах”). Но Ремизова интересовало наследие- как и угасшая старорусская письменность, прививкой которой он стремился оживить омертвевшую, «офранцузившуюся» современную словесность с ее “прекрасной ясностью по Анри де Ренье”; он публиковал сохранившееся. Розанова не интересовали архивохранилища. Он стирал черту, отделяющую рукописное — как легшее в архив и лишь оттуда поднимающееся на поверхность печатной жизни — от печатного, стирал временную дистанцию, культурную паузу, традиционно отбиваемый культурой интервал между писанным для частного применения (письмо, дневник) и для печати, для всех.

В этом и был смысл произведенной им литературной революции. Он пошел в ней дальше футуристов. Для них искусством было лишь то, что делалось как искусство, а «обрывышки» оставались частью быта. Рукописи свои они выбрасывали, и никто из них не стал бы, как Розанов, склеивать разорванный черновик письма жены своей шведке-массажистке и воспроизводить — с зачеркнутым и неразобранным — в печати, потому что ему “кажется “состриженный ноготок” с живого пальца важнее и интереснее «целого» выдуманного человека. Которого ведь-нет!!!” (то самое отвращение к «выдуманному», уже шедшее рядом со все большей и большей разработанностью искусства, которое успел уже выразить Толстой).

Жизнь Маяковского поместилась между “Я поэт — этим и интересен” (только этим! Не заглядывайте за пределы “отстоявшегося словом”!) и “…пожалуйста, не сплетничайте…”. Розанов же радостно заявил: интересно все, что я только помыслю и сумею занести на бумагу. И — сплетничайте, сплетничайте! И сам сплетничал в печати со вкусом.

Он не мог органически написать ничего такого, что не стало бы тут же. В момент писания (а не под патиной времени!), литературой. Как царь Мидас едва касался плодов — и они становились золотыми, так Розанов делал литературой как будто помимо воли, даже к собственному изумлению — любой насквозь, до сердцевины бытовой факт, к которому прикасался.

Уплощение культурного слоя и самой литературы сделало наше общество на несколько десятилетий невосприимчивым к слову Розанова, хотя оно впиталось в почву.

Читая сегодня повествование о “русском Ниле”, видишь некоторые стрелки, по которым должно направиться дело возрождения нашего общества. Среди прочего это и уважительное «вы», обращенное путешествующим автором к двенадцатилетней девочке, и бережное внимание к ее образу мыслей, ее будущему. Это и то ощущение России и всей страны как своего дома, которое постепенно оживает сегодня — порою и в изломанном каком-то виде, но оживает.

Вернем ли сложность духовной жизни? Ведь именно эта сложность, многослойность, разветвленность ее определяла прочность

культурной почвы, которая, повторю, держала все.

Примечания

Первоначально “Русский Нил” печатался в московской газете “Русское слово” (от 26, 30 июня. 17, 18. 24. 27 июля, 5. 24. 31 августа 1907 года) под псевдонимом В. Варварин и с тех пор ни разу не переиздавался. Розанов высылал в редакцию газеты статьи с Кавказа, где он проводил летний отпуск. Статья, помещенная в газете 34 августа, приобрела по желанию редакции заголовок «Израиль», а статья 31 августа — “В современных настроениях”. Однако Розанов настаивал на цельности всего сочинения и хотел издать отдельной книгой под общим заголовком “Русский Нил” (см.: Розанов. Опавшие листья. Короб второй и последний. Пг. 1915, стр. 297). Текст подготовлен с приближением к современной орфографии, но с учетом специфики розановской стилистики и синтаксиса.

Примечания

1 Тема Египта оказалась для Розанова сквозной. После первых публикаций на эту тему (см.: “О древнеегипетских обелисках” — “Торгово-промышленная газета”, литературное приложение от 21 марта 1899 года; “О древнеегипетской красоте” “Мир искусства”, 1899. № 10. 11–12, 15) Розанов не раз обращался к ней (см.: «Египет» — “Золотое руно”. 1806. № 5), а в конце жизни подготовил капитальный труд” Из восточных мотивов” (Пг. 1916–1917. вып. 1–3. Остальные семь выпусков не опубликованы). С четвертого выпуска он хотел назвать свою книгу “Возрождающийся Египет”. “Египетские мотивы” в творчестве Розанова вызывали живой интерес таких ученых, как В. А. Тураев, Н. П. Лихачев, Н. Н. Глубоковский.

2 Апис — в египетской мифологии бог плодородия в облике быка. И з и д а (Исида) — в египетской мифологии богиня плодородия, символ семейной верности.

3 Розанов не разделял взглядов П. Я. Чаадаева (см.: В. Розанов, “Чаадаев и кн. Одоевский” — “Новое время”, 10 апреля 1913 года). На предложение А. И. ДоливоДобровольского преподнести ему “прекрасный и редчайший портрет Чаадаева масляными красками его времени” Розанов отвечал: “Я не успел, точнее, не решался Вас поблагодарить за предложение портрета Чаадаева. Хотя сам Чаадаев не из моих любимцев литературы и истории, однако портрет по Вашему описанию так замечателен, что мне хочется по крайней мере взглянуть на него, конечно, не решаясь принять драгоценного дара. Только осторожное замечание: из рук Ваших он непременно должен перейти в Музей. Я думаю о Домике Пушкина. Это было бы превосходно” (ЦГАЛИ, ф. 419. оп. 1. ед. хр. 271, л. 5–6).

4 См.: Д. А. Сперанский. Из литературы древнего Египта. СПб. 1906; вып. I; Рассказ о двух братьях.

5 Ср.: ‹У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем” (М. Ю. Лермонтов Сочинения в 6-ти тт. М. — Л. 1957, т. 6. стр. 384).

6 Опекун Васи и Сережи, старший брат Николай Васильевич, в Симбирске получил должность учителя гимназии после окончания Казанского университета.

7 См.: В. Рагозин. Волга. Т. 1–3. СПб. 1880–1881.

8 См.: П. Се м е н о в-Т я н-Ш а н с к и й. Географическо-статистический словарь Российской империи. Тт. 1–5 СПб. 1863–1885.

9 Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — историк и публицист. Розанов, уклоняясь от прямой полемики с ним, не упускал случая выразить свое скептическое отношение к его трудам.

10 Романов-Борисоглебск- уездный город Ярославской губернии, располагался как два города на обоих берегах Волги. Романов основан в XIV веке не Романом Мстиславнчем (умер в 1205 году), князем галицким (с 1199 года), а великим князем Романом Васильевичем, сыном ярославского князя Василия Давыдовича.

11 В это время завершалось издание, на отсутствие которого жаловался Розанов. — “Православные монастыри Российской империи” (М. Издание А. Д. Ступина. 1908. 984 стр.). Полный список всех 1105 ныне существующих в семидесяти пяти губерниях и областях России (и а двух иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин. С кратким топографическим, историкостатистическим и археологическим описанием, библиографическими примечаниями, статистической таблицей и четырьмя алфавитными указателями. С указанием ближайших к монастырям почтовых и железнодорожных станций. Со ста десятью рисунками в тексте и картой монастырей (в две краски) на вкладном листе. Составил Л. И. Денисов. Действительный член Московского общества любителей духовного просвещения, церковно-археологического отдела при нем и Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины города Москвы и Московской епархии.

12 Розанов путешествовал по Волге со всей семьей.

13 См.: Матфей. 27, 57–60; Марк. 15, 42–47; Лука. 23. 50–55.

14 Ренан Эрнест Жозеф (1823–1892) — французский историк и писатель. Признавал историческое существование Иисуса Христа, но отрицал его божественное происхождение.

15 Ионафан (в миру Иван Наумович Руднев; 1816–1906, 19 октября) — архиепископ Ярославский. Дядя Варвары Дмитриевны, жены Розанова, по линии отца.

16 Надо учесть, что Розанов отрицательно относился к монашеству как институту христианской церкви.

17 Архиепископ Ионафан был похоронен в Спасском монастыре.

18 Вероятно, Розановы навещали архиепископа Ионафана в 1904 году, совместив поездку в Ярославль с поездкой в Саров, куда семья

Розановых ездила в годовщину канонизации святого Серафима Саровского (июль). (См.: Т. В. Розанова, “Воспоминания об отце В. В. Розанове и обо всей семье” — “Новый журнал”. Нью-Йорк. 1975, кн. 121, стр. 176–177.)

19 Розанов органически не переносил алкоголя. Ср. его статью “Солнце и виноград. Итальянские впечатления” (СПб. 1909).

20 Святая Цецилия (первая половина III века) — мученица. Почитается как покровительница духовной музыки.

21 Розанов был в Италии весной 1901 года и во время празднования Пасхи посещал собор святого Петра в Риме.

22 Филиокве (filio que — “и от Сына”) — учение католической церкви об исхождении Святого Духа от Бога Отца и Бога Сына. Это учение было одной из причин разделения церкви в XI веке.

23 Святой Алексий (конец XIII или начало XIV в.- 1378) — митрополит Киевский и всея Руси, митрополит Московский, почитался в народе как чудотворец. Святой Николай (IV в.) — архиепископ Мир Ликийских.

24 Первоклассный мужской монастырь в Ярославле. Расположен на левом берегу Волги при впадении в нее речки Толги. Основан в 1314 году. Возвращен Русской Православной церкви к празднику тысячелетия крещення Руси.

25 Сейчас находится в Ярославском художественном музее.

26 Макарьевская (или Нижегородская) ярмарка — периодический торг в Нижнем Новгороде. Возникла в середине XVI вена возле обители преподобного Макария Желтоводского (1349–1444), на левом берегу Волги. Ярмарка функционировала раз в год в честь праздника в память о преподобном Макарии, отмечавшегося Православной церковью 25 июля (по старому стилю), с 15 июля по 25 августа. После перенесения ярмарки в Нижний Новгород в 1817 году Старый Макарий (город Макарьевск) захирел, и к началу XX века там насчитывалось менее 2000 жителей.

27 Саблер Владимир Карлович (1845–1929) — обер-прокурор Синода (1911–1915).

28 Ср.: “Гимназия — большое двухэтажное здание с флюгером на крыше обставляла площадь справа и вместе с почтовой конторой стояла у въезда в улицу, ведущую к острогу. Она была выкрашена дикой, сумрачной краской, и флюгер ее очень внушительно торчал в небесном пространстве; он придавал зданию педантский вид, говоря проходящим и проезжающим о своем ученом значении. От палки ко всем четырем сторонам шли железные прутья, на конце которых приделаны были буквы: Ю. В. С. З… Один из учителей математики, отъявленный остряк, переводил эти буквы на понятный язык. “А это значит, — говорил он, — юношей велено сечь зело”” (П. Д. Боборыкин. Сочинения. СПб. — М. 1885: т. 1. В путь-дорогу!.. стр. 55). Боборыкин учился в нижегородской гимназии в конце 40-х — начале 50-х годов.

29 Сохранился экземпляр книги Розанова “О понимании” (М. 1886) с дарственной надписью: “Уважаемому и дорогому наставнику Константину Ивановичу Садокову с признательностью и любовью свой труд бывший ученик (1872-78 гг.). Василий Розанов. Брянск, 19 ноября 1886 года” (собрание С. М. Половинкина, Москва). См. воспоминания о Садокове: В. Розанов, “Из дел нашей школы” (“Новое слово”, 1910, август).

30 Граф Капнист Павел Александрович (1840–1904) — сенатор, попечитель Московского учебного округа. Централизованная система образования состояла из учебных округов, в которые входили по семь или восемь губерний. Во главе учебного округа стоял попечитель.

31 Здесь и далее у Розанова описка: братья Розановы жили в Симбирске в 1870–1872 годах.

32 Книга Г. Т. Бокля “История цивилизации в Англии”, столь популярная в России в 60-е годы, вышла в двух томах в издании Тиблена и Пантелеева (СПб. 1863–1865) в переводе К. Бестужева-Рюмина и Н. Тиблена. Перевод выдержал три переиздания. Но наряду с ним существовал другой перевод — А. Буйницкого и Ф. Ненарокомова, который тоже переиздавался три раза.

33 См.: “Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских…” (Иоанн, 3, 1). Петр и Иоанн, апостолы, прежде были рыбаками. Это любимая мысль Розанова, которую он по случаю всегда приводит “в пользу малых мира сего”.

34 См.: «Самодеятельность» (листок “Вестника благотворительности”). Спб. 1870. Выходил два раза в месяц. Издатель-редактор д-р А. Тицнер.

35 См.: И. Н. Пушкин (Чекрыгии). Жидок. Сборник еврейских песен, куплетов. романсов и арий со сценами, в двух частях, с фотографическим портретом автора. Изд. 3-е. М. 1879.

36 Карамзинская библиотека была основана в 1846 году.

37 Первым председателем правления библиотеки был Языков Петр Михайлович, брат известного поэта, должность перешла по наследству его сыну Александру Петровичу.

38 См.: К. Фогт. Физиологические письма. Изд. 2-е. СПб. 1867, вып. 1–2. (Ч. Л а й е л ь) Геологические доказательства древности человека. С некоторыми замечаниями о теориях происхождения видов Чарльза Ляйэлля. СПб. 1864 (на обороте книги заглавие сокращено: “Древность человека”).

39 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

40 См. русский перевод в издании: “Краледворская рукопись. Собрание древних чешских лирических и эпических песен”. Перевод Н. Берга. М. 1846.

41 Квадривий- четыре учебных предмета: арифметика, геометрия, астрономия и музыка, которые вместе с тремя другими — грамматикой, диалектикой и риторикой (т р и в и и) — составляли круг так называемых семи свободных искусств. На этой базе покоилась школа поздней античности, затем это легло в основу средневековой школы. Различию тривия и квадрнвия впоследствии дано было значение различия между гуманитарными и реальными (естественными) науками.

42 См.: Д. Щеглов. История социальных систем от древности до наших дней. В 2-х тт. Изд. 2-е. СПб. 1891, т. 1. В. Н. Чичерин. Политические мыслители Древнего и нового мира. М. 1897, вып. 1.

43 См.: “Новозаветный Израиль” (Собрание сочинений. СПб. Издание товарищества “Общественная польза”. В. г., т. IV).

44 См.: Исаия. 53, 3-10. Розанов везде понизил заглавную букву Мессии, преследуя свою задачу. Текст приведен неточно.

45 Розанов полемизирует с писателем-богословом Г. К. Пластовым (1827–1899), издание которого “Толкование на книгу пророка Исаии” (СПб. 1896) находилось в его библиотеке.

46 Ср.: “Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия” (Иоанн, 3, 3)

47 В просмотренных номерах “Русского богатства” за 1906–1907 годы обнаружить стихи не удалось.

48 Розанов называет имена женщин, причисленных христианской церковью к лику святых за распространение новой веры: святая Берта (VI в.) — франкская принцесса, жена короля кентского (Англия) Этельберта; святая Клотильда (475–545) — жена франкского короля Хлодвига; святая Ольга (X в.) — жена князя Игоря; святая Нина (276–340) — грузинская просветительница.

49 Розанов имеет в виду Владимира Григорьевича Черткова (1854–1936) публициста, издателя, близкого друга Л. Н. Толстого. Крайне отрицательно настроенный к толстовству, Розанов обвинял Черткова в его пропаганде (см.: В. Розанов, “Друг великого человека” — “Новое время”, 5 июня 1911 года).